

Спас на дне

Алексей Хромов

Алексей Хромов

Спас на дне

«Автор»

2026

Хромов А.

Спас на дне / А. Хромов — «Автор», 2026

Лето 2010-го. Ясноводск задыхается от жары и торфяного дыма, а водохранилище, сработанное до отметки девяносто восемь, отдаёт то, что держало пятьдесят три года: из воды выходит село Спас-Затонье, затопленное в пятьдесят седьмом. В подклете уцелевшей церкви находят тело Льва Шадрина — директора ГЭС, утонувшего в восемьдесят восьмом. Пятаки на глазах, вымытые ноги, хлеб в руке. Следователь Глеб Архипов приезжает на две недели и остаётся до сентября. Через шесть дней находят второго — из той же компании мальчишек, что летом восемьдесят восьмого бежали на затон. Смерти идут одна за другой, и каждая повторяет обряд, которого никто не помнит, но который все узнают: старухи в очереди, звонарь, следователь, приехавший из области, чтобы ничего здесь не найти. Чем ниже вода, тем яснее: город хоронил не только дома. Роман о пяти мальчишках из восемьдесят восьмого года, о хлебе, который передают из рук в руки, и о вине, которую нельзя отбыть — её можно только взять. Из чужих рук.

© Хромов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть Первая . НОРМАЛЬНЫЙ ПОДПОРНЫЙ УРОВЕНЬ	5
Глава 1. Отметка 98,4	6
Глава 2. Сам	12
Глава 3. Записки о здравии	19
Глава 4. Дважды умерший	26
Глава 5. Пятеро	33
Глава 6. Вторые похороны	39
Глава 7. Торф	45
Глава 8. Сомовник	52
Глава 9. Лодка у колокольни	58
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Спас на дне

Часть Первая . НОРМАЛЬНЫЙ ПОДПОРНЫЙ УРОВЕНЬ

Глава 1. Отметка 98,4

27 июля 2010 года

1

Радиоточка на кухне включалась сама, в шесть утра, гимном. Выключить её было нельзя: ручку громкости отломали ещё при бабушке, а провод уходил в стену, как корень. Гимна Костя давно не слышал, как не слышат холодильник. Он слышал то, что шло потом. В семь десять, после погоды и перед подпиской на «Ясноводский энергетик», женский голос читал уровень.

— Температура воздуха в Ясноводске двадцать девять градусов, днём до тридцати восьми. Осадков не ожидается. Уровень воды у плотины — девяносто восемь и четыре.

Мать как вошла с ночной смены, так и остановилась в дверях кухни, с пакетом в руке, и дослушала до подписки. Потом поставила пакет на стол. В пакете лежал батон — формовщикам давали один за смену, — ещё тёплый, запотевший изнутри целлофана. От матери пахло так же, как от батона: горячей коркой, дрожжами, чем-то сладким с кислинкой. Мука сидела в светлых волосах на её руках до самого локтя, и в июле это было похоже на иней.

— Опять ушла, — сказала она.

— Десять дней было девяносто восемь и пять, — сказал Костя. — Она по сантиметру уходит. А радио округляет.

— Считальщик.

Он и правда считал. Сорок одна ступенька до четвёртого этажа. Тысяча сто сорок шагов до школы, если через двор хлебозавода. Шестой год, как отец уехал на вахту в Когалым. Вахта была месяц через месяц, но у отца она шла шестой год без перерыва, и мать говорила о Кога-лыме как о месте, откуда долго добираться. Цифры ничего не требовали. С ними не надо было разговаривать.

За окном было что-то не так, и Костя не сразу понял, что именно. Из их двора, как из любого двора Соцгорода, была видна плотина: серая стена в конце улицы, выше крыш, выше ДК с мозаикой, и по её верху, как по линейке, всю жизнь ползали маленькие машины. Сегодня верха не было. Стена поднималась из-за ДК и где-то на середине растворялась в жёлтом, и выходило, что она ни до чего не доходит и ничего не держит. Над ней висело солнце — медное, плоское, как пятак. На него можно было смотреть не щурясь.

Пахло печкой. Будто весь город разом затопил в июле.

— Бор горит, — сказала мать. — Торф, на левом берегу, за санаторием. Ночью говорили. — Она достала нож. — Дома сиди сегодня.

— Мы с пацанами на Нагорный. На берег.

Мать отрезала горбушку и положила её на край стола, на клеёнку, отдельно. Горбушку у них никто не ел. К вечеру она засыхала, и мать крошила её голубям. Костя ни разу не спрашивал, для кого она лежит: так делали у всех, у Женьки дома тоже, — как никто не спрашивал, почему в Ясноводске не едят сомов.

— На дно не ходите, — сказала мать.

— Там все ходят.

— Там люди лежат. — Она подумала и поправилась, как будто сказала лишнее: — Кладбище там. Затонское.

Потом она легла на балконе, на раскладушке, и накрылась мокрой простынёй с головой. Из-под простыни, в дым, ни к кому, сказала:

— При Самом такого не было.

Костя не знал, кто такой Сам. То есть знал — так, как знают слово «погода». Его говорили старые люди, когда что-нибудь ломалось: отключали горячую воду, закрывали санаторий,

дорожала колбаса. При Самом не было. Сам бы не дал. Кто это, никто не объяснял, а спросить было неловко, всё равно что спросить, как зовут Бога.

2

К восьми вечера жара не спала, а загустела. Асфальт на Нагорном был мягкий, на нём оставались следы от сланцев. Лестница к воде — длинная, бетонная, в сто двенадцать ступеней — раньше спускалась прямо в водохранилище, как в бассейн. Теперь последние девять ступенек висели над серым склоном, и от нижней до воды было метров сорок сухого дна.

Вадик пришёл последним и принёс пакет. В пакете звенело.

— Брат взял, — сказал он. — Пять штук.

Костя посчитал: пять «девяток» на четверых.

— Пятая кому?

— Кто первый допьёт.

Вадику было шестнадцать, и он ходил так, будто ему уже разрешили всё, что разрешат потом. Женька Рыжов, маленький, в веснушках, носил марлевую повязку на подбородке, как бороду, и держал пачку «Кириешек». Кристина повязала свою марлю на запястье, бантиком: носить её на лице было стыдно, а на руке — как будто так и надо. На ней были белые шорты и розовые сланцы, и Костя смотрел на сланцы, потому что смотреть выше было нельзя.

Затонский тракт вышел из воды неделю назад, и в городе про него говорили так, будто что-то всплыло. Это была дорога — настоящая, булыжная, горбом, — и она начиналась прямо от лестницы и уходила в дым. Слева и справа лежало дно. Оно было серое, в трещинах, как старая краска на подоконнике, и сверху казалось твёрдым. Костя шагнул с булыжника, и нога ушла по щиколотку, и ил отпустил её с чмоканьем, как поцелуй. Кроссовок стал тяжёлый и холодный изнутри.

— Вот ты дурак, — сказала Кристина.

По сторонам торчали пни ветел, чёрные, скользкие, и каменные фундаменты домов, ровными квадратами, как гнилые зубы в дёснах. Стоял сруб колодца. Везде лежал лещ — плоский, серебряный, с пожелтевшим брюхом, — и над каждым висело гудящее облачко мух. Чайки сидели на рыбе и не взлетали, когда подходили люди. Запах был тёплый, сладкий и такой плотный, что его можно было жевать. Женька натянул марлю на нос. Через марлю пахло так же, только ещё и марлей.

Слева, на склоне, из трещин торчали кресты. Железные, ржавые, все наклонённые в одну сторону, к городу, как люди, которые идут против ветра.

— Бабка говорит, там поп сидит, — сказал Женька. — В церкви. Его затопили, а он не ушёл. Сидит и ждёт.

— Чего ждёт? — спросил Вадик.

— Не знаю. Бабка говорит, он теперь сом.

— Твоя бабка и про НЛО говорит.

— Про НЛО — это дед.

Женька набрал горсть «Кириешек» и швырнул их в сторону воды. Сухарики не долетели и легли на ил, и к ним тут же спрыгнула чайка.

— Бате, — сказал Женька. — На закуску.

— Не надо, — сказала Кристина.

— Чё не надо? Мужики на Спас батоны кидают, а мне нельзя?

— Вот мужики пусть и кидают.

Она сказала это тихо, и все помолчали, и Вадик открыл первую бутылку зажигалкой, и пиво пошло пеной ему на руку.

Колокольня не приближалась, а появилась. Только что впереди был жёлтый дым, и вдруг из него встала серая стена, выше, чем казалось с берега, со слепым проёмом наверху, где когда-то висел колокол. К ней прилепилась церковь без крыши. Тракт поднимался к ним, на бывшую

горку, и заканчивался у паперти. Дальше, за церковью, лежала вода — плоская, коричневая, неподвижная. Она не блестела. В дыму ей нечем было блестеть.

3

На западной стене, высоко, выше их голов, красной краской было написано: «НПУ 102». Под буквами шла ровная красная черта, по линейке, через всю стену. Краска не облезла. Её как будто положили на прошлой неделе.

— Это до куда вода была, — сказал Вадик. — Нормальная.

Костя задрал голову. Черта была над ним на два его роста. Три шестьдесят, подумал он. Они стояли на дне. Над ними, если по правде, стояла вода, три метра шестьдесят сантиметров, с лещами и с сомом, — только её не было.

Внутри было светлее, чем снаружи: вместо крыши — жёлтое небо. Пол покрывал ил, подсохший коркой, в нём белели рыбы кости и лежала велосипедная рама, облепленная ракушками. Стены до половины были зелёно-серые, в разводах. Выше грязной черты сохранилась роспись: святые в полный рост, в длинных одеждах, с поднятыми руками. У всех были выпарапаны глаза. Кто-то прошёлся гвоздём, давно, ещё до воды, — белые штрихи по штукатурке, аккуратные, по два на каждое лицо.

— Жесть, — сказал Женька и сфотографировал.

Пили на ступеньках колокольни, внутри, где винтовая лестница уходила вверх ржавой спиралью и где было не так жарко. Вадик выпил первую бутылку быстро и открыл вторую. Женька икал. Кристина пила маленькими глотками и морщилась.

— Кость, у тебя камера нормальная, — сказала она. — Сфоткай меня тут. На аватарку.

Телефон ему мать купила в марте, на день рождения, в кредит в «Эльдорадо», — «Нокия», два мегапикселя, — и он носил его в кармане шорт, застёгнутом на пуговицу. Кристина встала у стены, прямо под святым без глаз, подняла руку, как он, и засмеялась.

— Не влезаешь, — сказал Костя и отступил.

— Ещё.

Он отступил ещё. В северном углу пол был другой — не корка, а мягкое, — и нога поехала. Под илом не было пола. Костя взмахнул руками, одна нога провалилась в пустоту по бедро, он упал на локоть, и телефон вылетел из пальцев, мелькнул светлым экраном и ушёл вниз, в чёрное. Внизу коротко чавкнуло.

Кристина засмеялась и перестала.

В углу, где он провалился, была дыра. Когда-то там был свод, кирпичный, и он обвалился, и теперь в полу зияла яма шириной с дверь, с краями, облепленными илом. Из ямы тянуло холодом. Холодом — это было так странно, что Костя подержал над ней ладонь, как над батареей.

— Всё, — сказал Вадик. — Нету телефона.

— Там утопленники, — сказал Женька. — Они тебе позвонят.

— Мать убьёт, — сказал Костя.

4

Он лёг на живот и спустил ноги. Ноги повисли в холодном. Он сполз ниже, повис на руках, ощупал носками пустоту, разжал пальцы — и ушёл в ил по колени.

Это было первое холодное место в Ясноводске за месяц. Секунду холод был даже приятен. Потом он полез в кроссовки, под шорты, в поясницу, и Костя понял, что стоит в погребке, а погреб — под водой, которой нет. Свод был низкий, над самой головой, и он пригнулся. Ил доходил почти до середины стен. Наверху, в квадрате жёлтого неба, торчали три головы.

— Ну чё? — спросил Вадик.

— Темно.

— Щас наберу, — сказала Кристина.

Пахло здесь не рыбой. Пахло сладко и прогоркло, как пахнет сало, если его забыть в шкафу, и ещё холодным камнем, и ещё чем-то, чему у Кости не было названия.

Слева, в темноте, под илом, заиграл «Бумер».

Эту мелодию он поставил в мае — её тогда ставили все, — и сейчас она звучала глухо, из-под земли, как из-под одеяла. Вместе с ней под илом загорелся свет: зелёный квадратик, мутный, как фонарик сквозь молоко. До него было метра полтора. Костя двинулся на коленях, ил держал, и на втором шаге он упал вперёд, на руки, лицом почти в самую жижу. Ил попал в нос. Он фыркнул, и во рту стало холодно и кисло, как будто он лизнул монету.

Он запустил пальцы туда, где светилося. Телефон вибрировал в иле, как живой, и пальцы сомкнулись на нём — и рядом с ним на чём-то ещё. На ткани. Гладкой, плотной, с рубчиком. Под тканью было твёрдое и тонкое.

Костя вытащил телефон. На экране было написано: «Кристина». Он нажал зелёную кнопку, не думая.

— Нашёл? — сказала Кристина из телефона.

— Нашёл? — сказала Кристина сверху, через секунду, из дыры.

— Нашёл, — сказал Костя.

Он повернул телефон экраном к тому месту, где была ткань.

Свет у «Нокии» горел пятнадцать секунд, потом гас. Костя знал это, как знал сорок одну ступеньку. Он начал считать, не заметив, что считает.

Рукав. Тёмный, в тонкую полоску, широкий. Из рукава выходила рука — узкая, жёлтая, как воск от свечки, с длинными ногтями. Такие ногти были у бабушки в последний год, когда её уже никто не стриг. Рука лежала на груди, спокойно, пальцы чуть согнуты.

Тринадцать. Четырнадцать. Экран погас.

В темноте было слышно, как капает. Где-то справа, редко, в лужу. Костя нажал на кнопку.

Лацкан. Широкий, с острым углом, как на фотографиях в музее ДК, где мужчины в таких пиджаках перерезают ленточку. На лацкане — значок, маленький, эмалевый, и на нём молния. Такая же, как у Рабочего на мозаике: зигзаг в кулаке. Воротник рубашки стоял вокруг шеи шире, чем шея, и галстук был завязан ровно, узлом под горло. Пиджак был велик. Не так, как бывает велик чужой, — а так, будто человек в нём со временем уменьшился, а пиджак остался прежним.

Экран погас.

Костя нажал.

Лицо. Серо-белое, гладкое, как кусок мыла, забытый в бане, со стёртыми краями. Рот чуть открыт, и в нём ил. Волосы белые, короткие. Причёсанные. Кто-то причесал его на пробор, слева, и пробор был ровный, как черта «НПУ» на стене.

На глазах лежали монеты.

Две. Медные, тусклые, с налипшим илом по краю. На правой, в зелёном свете, была видна большая цифра — пятёрка. Как в дневнике.

Экран погас, и Костя больше не нажимал.

— Кость? — сказал телефон у него в руке, тонко, издалека. — Костя?

Он не отвечал. Он стоял на коленях в холодном иле и дышал ртом, потому что нос был забит, и во рту был вкус монеты. Колени мелко тряслись, отдельно от него, как у собаки. По левой ноге, под шортами, потекло тёплое, и он не сразу понял, что это его. Когда понял, ничего не почувствовал. Тёплое было даже приятно — первое тёплое за всё время тут, внизу.

Похороны деда он помнил: деда положили в гроб в сером пиджаке, и бабушка положила ему на глаза две монеты, а Косте сказала, что это чтобы глаза не открылись. Больше она ничего не сказала. Костя тогда был маленький и решил, что если монету снять, дед посмотрит.

Он нажал на кнопку в последний раз. Потому что не видеть было хуже.

Руки, скрещённые на груди, правая поверх левой. Брюки. Ниже брюк — ступни. Ботинок не было. Человек лежал в костюме, при галстукe, причёсанный — и босиком. Ил вокруг него был гладкий, ровный, без единой вмятины, как застеленная кровать. Вмятины были только Костины.

Сверху ударил белый свет. Женька лёг над дырой и светил вниз своим «Самсунгом» со вспышкой, и белое упало сразу на всё — на свод, на ил, на Костю на коленях, на рукав, на лицо, на две монеты. Женька закричал. Он кричал тонко, как девчонка, и не переставая.

— Вылезай, — сказал Вадик сверху. Голос у него был совсем другой. — Вылезай, Костян. Давай руки.

Вадик лёг рядом с Женькой и протянул обе руки. Костя встал, пригибаясь под сводом, ухватился, и Вадик потянул. Правую ногу ил держал. Он держал её плотно и спокойно, как держат за щиколотку, и Костя дёрнулся раз, другой, и ил отпустил ногу с долгим сосущим звуком — а кроссовок оставил себе.

5

Они бежали по тракту в темноте, которая наступила сразу, как будто её включили. Дым стал тёмно-жёлтым, потом серым, потом никаким. Женька светил под ноги своим «Самсунгом», и пятно света прыгало по булыжникам. Кристина бежала, не выпуская Костину руку, и её сланцы шлёпали по камню, как ладонью по спине. Костина босая нога ступала то на булыжник, ещё тёплый от дня, то в холодный ил, то на что-то острое. Он не почувствовал, как порезался. Он почувствовал потом, дома.

На середине тракта Вадик остановился, упёрся руками в колени и задышал со свистом. Все остановились. И все, не сговариваясь, обернулись.

Колокольня была тёмным пятном в тёмном дыму. У её подножия, низко над водой, горел свет.

Не телефон и не фонарик. Жёлтый, тёплый, дрожащий — так горит керосиновая лампа у Женькиного деда на даче. Свет медленно двигался вокруг колокольни, чуть покачиваясь. Мотора слышно не было. Было слышно другое — сквозь дым, отчётливо, будто в двух шагах: скрип уключины. Раз — и пауза. Раз — и пауза. Кто-то грёб неторопливо, как гребут, когда знают дорогу.

Костя считал гребки. На шестом свет остановился — с той стороны, где была церковь. Где был северный угол.

— Он нас видит? — шёпотом спросил Женька.

— Рыбаки, — сказал Вадик.

Никто не пошевелился.

— Ночью? — сказал Женька. — Без мотора?

— Рыбаки, я сказал.

Свет постоял. Потом он не уплыл и не повернул — он погас. Сразу, как будто его накрыли ладонью.

Они побежали дальше.

6

У верхней ступеньки лестницы, под фонарём, вокруг которого крутилась мошкaра, Вадик сказал:

— Значит, так. Нас там не было.

— Там человек лежит, — сказала Кристина.

— Он там не сегодня лёг.

— Надо в милицию.

— Ага. Иди. Скажи, пиво в церкви пили. Мать твоя обрадуется.

Кристина посмотрела на свою руку. На запястье у неё всё ещё была марля бантиком, серая от ила.

— Его положили, — сказала она. — Он не упал. Его положили, как...

Она не договорила, и никто ей не помог. Женька смотрел в сторону плотины. Костя смотрел на свою ногу — чёрную до колена, одну в кроссовке, другую нет — и считал мошек у фонаря, и сбивался.

— Никому, — сказал Вадик. — Ни матерям, ни пацанам. И между собой — тоже не триндеть. Ясно?

Разошлись по одному. Не сговаривались — просто каждый пошёл в свою сторону, как будто так и было договорено заранее.

Соцгород пах хлебом.

Ночная смена на хлебозаводе работала, и через решётки вентиляции, через открытые окна цеха на улицу шёл горячий, сладкий, дрожжевой дух, и накрывал дворы, и мешался с дымом. Этот запах был запахом матери. Он был запахом дома, запахом утра, когда она приходит и ставит пакет на стол. Сейчас он вошёл Косте в рот вместе со вкусом ила и монеты, и на углу своего дома, у мусорных баков, Костю вырвало на тёплый асфальт.

Дома было пусто. Мать была на смене. Радиоточка на кухне шипела ночным шипением, как всегда после полуночи, как будто кто-то там дышал в микрофон и молчал. Костя пустил в ванной воду. Вода из крана пахла тиной — так пахла вся вода в городе с тех пор, как обмелел заборник, — и Костя мыл ногу, и нос, и сморкался, и в раковину уходило серое. Порез на ступне был короткий, глубокий, и в нём тоже был ил. Он выковыривал его ногтем. Потом бросил.

Он лёг на балконе, на материну раскладушку, под мокрую простыню. Напротив, через двор, все балконы были белые. Под каждой простынёй кто-то лежал, ряд над рядом, этаж над этажом, и в темноте было не разобрать, кто там дышит, а кто нет.

Он не спал. В шесть на кухне сам собой заиграл гимн.

Мать пришла в семь, с пакетом. Остановилась в прихожей. Костя слышал, как она оставилась.

— А второй где?

Он вышел к ней. Кроссовок стоял у двери один, на боку, чёрный от засохшего ила, с вывернутым язычком.

— Потерял.

Мать посмотрела на его ногу. На порез, на серую кайму под ногтями. Смотрела долго, и Костя ждал, что она спросит.

— Ноги помой, — сказала она. — Говорила же: на дно не ходить.

Больше она не спросила ничего. Она прошла на кухню, достала нож, отрезала от батона горбушку и положила её на край стола, отдельно.

В семь десять женский голос сказал:

— Уровень воды у плотины — девяносто восемь и четыре.

Цифра была та же, что вчера. Радио округляло, и сантиметр, который вода отдала за ночь, в эфир не попал. Но он был. Костя это знал.

Он смотрел на кроссовок у двери. На язычке, изнутри, чёрным маркером, крупными печатными буквами было написано: ПАХОМОВ К. Мать подписала оба в прошлом июне, перед лагерем, чтобы не спёрли.

Второй лежал сейчас в подклете, в холодном иле, у босых ног человека, которого кто-то причесал на пробор. Буквы на нём мать писала крупно, чтобы их можно было прочесть при любом свете.

Даже при фонаре.

Глава 2. Сам

28 июля 2010 года

1

Кондиционер в машине не работал с мая. Архипов всё собирался его починить, и в мае это было неважно, в июне терпимо, а к концу июля превратилось во что-то вроде убеждения, которое уже неловко менять. Окна он держал закрытыми. Выбор был из тех, что кажутся простыми только на бумаге: открыть окна и дышать дымом или не открывать и дышать тем, что остаётся в салоне «Форда» при сорока градусах, — собственным потом, нагретым пластиком, пылью с торпеды. Он выбрал второе. Второе, по крайней мере, было его.

На пассажирском сиденье лежал ингалятор, синий, с белым колпачком, а под ним — тонкая книжка в мягкой обложке, с карандашом вместо закладки. С обложки смотрело усатое лицо. Ингалятор Архипов время от времени брал и встряхивал возле уха. По звуку, как погрешку, он умел определить, сколько осталось доз. Осталось дня на три. Если не дышать.

Лес начался за Покровским поворотом и стоял по обе стороны дороги целый, зелёный, с виду нетронутый, но от корней, из-под мха, из самой земли поднимался дым, будто лес варили на медленном огне. Видимость была метров пятьдесят. Дорога кончалась в пятидесяти метрах, и из этого конца без предупреждения выходили вещи: лесовоз с брёвнами, пожарная машина с мигалкой, которая в дыму казалась розовой, корова. Корова стояла посреди полосы и смотрела на него через лобовое стекло с выражением, которое у человека он назвал бы усталостью. Он объехал её по встречной.

У обочины на табуретке сидела старуха в марлевой повязке и продавала чернику. Перед ней стояли литровые банки, и на картонке было написано: «ЧЕРНИКА. НЕ ГОРЕЛАЯ».

Через километр из дыма вышел гаишник — в повязке, с жезлом, в фуражке, под которой, судя по лицу, у него давно всё сварилось. Архипов опустил стекло, и в салон вошёл лес: горелая хвоя, торф, что-то химическое, как от тлеющего провода. Горло сжалось сразу, будто в него вставили кулак.

— Куда?

— Ясноводск.

Гаишник посмотрел на удостоверение и вернул его, не раскрыв до конца.

— Дальше по фарам езжайте, — сказал он. — Там, на подъезде, яма горит, с правой стороны. Туда не суйтесь. Сверху твёрдое, а внизу пусто. — Он помолчал и добавил без всякой связи, глядя куда-то в дым, в сторону, где должна была быть вода: — Вы к нам надолго — рыбу там не берите. У них рыба сейчас сама на берег выходит. Нехорошая рыба.

— Я не рыбачу.

— Ну и правильно, — сказал гаишник и махнул жезлом, как отпускают, а не как пропускают.

Архипов поднял стекло и минут пять дышал так, как учили в детстве: носом, на четыре счёта, потом ртом, на восемь. Учил его этому один человек — стоя над ним с секундомером, по-военному, — и счёт до сих пор звучал у него в голове чужим голосом.

Радио держало областную волну до Покровского, потом осталось одно шипение — ровное, с присвистом, как будто кто-то дышал в микрофон и не решался заговорить. Архипов не выключал. Шипение было лучше тишины, в которой слышно, как дышишь сам.

Пот стекал с бровей в глаза. Рубашка прилипла к спинке сиденья, и когда он наклонился вперёд, чтобы разглядеть дорогу, спина отклеивалась со звуком, с каким снимают пластырь.

Начальник позвонил ему в половине девятого, домой.

— Глеб Андреевич, собирайся. Ясноводск.

— Что там?

— Директор ГЭС всплыл. Бывший. Двадцать два года как утонул, а тут, говорят, лежит в церкви, в костюме, как новенький.

— Почему не районные?

— Потому что глава района звонил губернатору в семь утра.

Архипов подождал продолжения, но продолжения не было, и он понял, что это и есть объяснение, полное и исчерпывающее, и что других объяснений у таких вещей, в сущности, не бывает.

— Фамилия?

— Сам узнаешь, — сказал начальник. — Там все знают. И это... подыши там. Воздухом. Он засмеялся и отключился.

Салфетки лежали в бардачке. Архипов, не отрывая глаз от дороги, нажал на крышку, и она откинулась ему на колени вместе со всем, что за ней было: фонарик, техпаспорт, пачка салфеток, стопка конвертов, перетянутых аптечной резинкой. Конверты были одинаковые, белые, с синим штампом в углу. Он взял салфетки, а конверты, не глядя, затолкал обратно и закрыл бардачок коленом. Защёлка давно была сломана, и крышка держалась, пока её не трогали.

2

Лес кончился, и дорога вышла на плотину.

Указатель: «ЯСНОВОДСК». Под буквами — рельефная молния в кулаке, крашенная серебрянкой. Дальше дорога шла по гребню, прямая, как линейка, больше километра, и на бетонных стыках колёса стучали ровно, как в поезде: тук-тук, пауза, тук-тук.

Слева лежало водохранилище — вернее, то, что от него было видно: коричневая неподвижная плоскость, уходящая в дым, а между ней и бетоном — полоса обнажённого склона, серая, в трещинах. На самом бетоне, высоко над водой, тянулась тёмная ровная черта, там, где вода стояла всегда. Как след в ванне, из которой выдернули пробку.

Справа, метрах в тридцати внизу, лежал город. Крыши, дворы, трубы, фасад ДК с мозаикой, которую сверху было не разобрать, — всё это было ниже воды. Архипов подумал об этом не как следователь, а как человек с астмой: город жил под водой и дышал только потому, что его держала стена, по которой он сейчас ехал.

На середине плотины бардачок откинулся сам. Конверты съехали на коврик. Архипов, не сбавляя скорости, наклонился, собрал их, не глядя, и сунул обратно.

В конце плотины дорога поворачивала на дамбу, вдоль высокого берега, и там, слева, над водой, один пролёт ограждения — метров десять — был светлее остальных, другой краски, будто его поставили позже. Архипов отметил это так, как отмечал всё: без мысли, на склад. Над дамбой на обрыве стояла маленькая белая часовня, похожая на кусок сахара, с потускневшей в дыму маковкой. Возле часовни никого не было. Он проехал мимо.

3

Гостиница «Волна» стояла в Соцгороде, в сталинском доме с колоннами и лепными снопами над входом. Неоновая «В» на крыше не горела, и в дыму над улицей висело бледно-синее: «ОЛНА».

Администратор, крупная женщина в халате с подсолнухами, обмахивалась пластмассовым веером, хотя на стойке рядом с ней крутился вентилятор. Ключ она выдала на деревянной груше, с номером 512.

— Пятый этаж. Лифт с мая не работает.

— Ничего.

— Надолго к нам?

— Как пойдёт.

Она посмотрела на удостоверение, потом на него, и веер остановился.

— Вы по тому... — Она не договорила и показала глазами на стену, в сторону плотины.

— По Затонью?

— По Затонью.

— Говорят, Сам, — сказала она шёпотом. И тут же, громко, по-казённому: — Завтрак с семи до девяти, в буфете. Горячей воды нет.

— Кто — сам?

Она посмотрела на него, как на иностранца, который спросил, где тут Кремль.

— Ну — Сам.

На площадке третьего этажа Архипов остановился, держась за перила. Перила были липкие. Дышать приходилось осторожно, как несут полную чашку. Ингалятор он доставать не стал: до пятого оставалось два пролёта, а доз — на три дня.

Вентилятор в номере был. Архипов включил его, вентилятор загудел, но лопасти не двинулись. Он толкнул их пальцем. Лопасти сделали один оборот и встали, продолжая гудеть, как будто вентилятор помнил, что должен делать, но не помнил зачем.

Из окна была видна плотина — отсюда, снизу, она закрывала полнеба — и справа, на высоком берегу, Нагорный: девятиэтажки, и все балконы белые. На каждом висела или лежала мокрая простыня, и в жёлтом дыму это было похоже на что-то больничное, на то, что уносят по коридору, пока посетители смотрят в другую сторону.

Вода из крана пахла тинной. Он умылся. В зеркале был мужчина с мокрыми бровями и тяжёлым подбородком. Подбородок был не его. Он появился года три назад, как появляются в доме часы, доставшиеся по наследству, которые не хочешь носить и неудобно выбросить.

Телефон показывал одну палочку сети и ни одного пропущенного. Дочь не звонила с апреля. Это было в пределах. Он так это для себя называл — в пределах.

4

ОВД был через два квартала, в таком же сталинском доме, только без снопов. У крыльца в тени тополя стояла белая «Камри» с работающим мотором, и водитель спал за рулём, открыв рот, в прохладе кондиционера.

Кабинет начальника уголовного розыска был на втором этаже, в конце коридора, и дверь стояла нараспашку, подпёртая огнетушителем. Одно окно, карта района на стене, электрический чайник, и за столом — женщина в форменной рубашке с тёмными полукружьями под мышками. Под стеклом на столе лежали фотографии: трое детей разного роста, все щербатые.

— Кравец, — сказала она, не вставая, и протянула руку через стол. Рука была сухая и сильная. — Архипов? Чай будете. Горячий. От жары — горячий, не верите — зря.

— Спасибо, нет.

Она всё равно налила в гранёный стакан в подстаканнике и подвинула к нему. Потом взяла из банки сушку, сжала в кулаке, и сушка хрустнула на три части.

— Значит, так. Двадцать седьмого, около двадцати трёх пятидесяти, четверо подростков в Затонской церкви. Пиво. Один провалился в подклет за телефоном. Там мужчина. Разбежались. Девочка утром рассказала матери, мать позвонила в дежурку в семь ноль пять. Наряд пошёл пешком, по тракту машина не пройдёт. Подняли в восемь сорок. Мужчина пожилой, в костюме. Документов нет. Обувь нет. На глазах два пятака.

Она говорила так, как читают список покупок, и ела сушку по кусочку, между пунктами.

— И вот.

Она поставила на стол бумажный пакет и развернула края. В пакете лежал кроссовок, серый от засохшего ила. Архипов наклонился. На язычке изнутри крупными печатными буквами было написано: ПАХОМОВ К.

— Рядом лежал, — сказала Кравец. — Пахомов Константин, пятнадцать лет. Мать на хлебозаводе, формовщица. С детьми я сама поговорю.

— Я бы тоже хотел.

— Поговорите. После меня. — Она посмотрела на него. — Они и так.

Что «и так», она не объяснила, и он не спросил.

— Девочка ещё лодку видела. У колокольни, с фонарём. Я записала.

— Рыбак?

— У колокольни не ловят.

— Почему?

— Не ловят, и всё. Там яма. — Она помолчала. — Сомовая.

Архипов подождал, не скажет ли она ещё что-нибудь про сомов, но она взяла вторую сушку.

— Мне сказали, это бывший директор ГЭС, — сказал он.

— Вам сказали.

— А вы?

— А я жду экспертизу. Эксперт из области завтра. Пока — неустановленный мужчина пожилого возраста.

— Но вы его узнали.

— Я его видела два раза в жизни, — сказала Кравец. — Один раз на плакате.

— А второй?

Она сломала сушку и посмотрела в окно, на белую «Камри».

— Глава района, — сказала она. — С утра третий раз заезжает. Спрашивает, не нужно ли чего.

— А нужно?

— Нам — нет.

5

Морг был через двор, в подвале районной больницы. Шли пешком. Двор был пустой и белый, солнце сквозь дым светило со всех сторон сразу, как лампа в операционной. Кравец шла быстро, коротким шагом, и говорила, не поворачивая головы.

— Девятнадцатое августа восемьдесят восьмого. Ночь. Гроза была, сухая, без дождя. Ехал один, на служебной. Чёрная «Волга». На дамбе пробил ограждение — вы проезжали, там кусок новый. Свидетель видел, как машина шла по дамбе без фар. Водолазы искали три дня. Там двадцать метров и течение к водоприёмнику. Не нашли ни машину, ни его. Через год признали умершим. Потом камень поставили. Потом часовню.

— Три дня, — сказал Архипов. — Двадцать метров, и не нашли «Волгу».

— Не нашли.

— Кто решил перестать искать?

— Не знаю. — Она перешагнула через шланг, брошенный поперёк двора. — Мне шестнадцать было.

Он хотел сказать, что в шестнадцать люди знают больше, чем потом признают, — это было из тех наблюдений, которые он делал о других и которые подтверждались так часто, что он перестал считать их наблюдениями, — но не сказал.

— Чёрная «Волга», — сказал он вместо этого. — У нас в области ею детей пугали, когда я был маленький. Ездит ночью, и кто в неё сядет...

— Это у вас её выдумали, — сказала Кравец. — У нас она была.

Она потянула железную дверь подвала, и оттуда пахнуло тем, что в подвале считалось холодом.

В коридоре стояли каталки. Семь. Архипов посчитал их, не собираясь считать. На каждой под простынёй лежало что-то длинное, и у двух простыни были короткие, и из-под них торчали ступни — жёлтые, старые, с загнутыми ногтями и бирками на больших пальцах. Под потолком гудел вентилятор и гонял по коридору тёплый воздух, пахнувший хлоркой, формалином и тем сладким, ради чего хлорка и формалин существуют.

— Жара, — сказал санитар, выходя им навстречу. — Старики. Камера на шесть, у меня одиннадцать. Лёд с рыбзавода возим, в мешках.

Ему было лет шестьдесят. Клеёнчатый фартук на голое тело, сигарета за ухом. Звали его, судя по тому, как к нему обратилась Кравец, Гена.

— Гена, покажи.

Того, кого подняли из Затонья, положили отдельно, в прозекторской, на стол, обложенный мешками со льдом. Лёд таял, и с края стола на кафель капало: раз — пауза — раз. Гена откинул простыню до пояса, аккуратно, двумя руками, как откидывают одеяло со спящего.

Архипов посмотрел.

Сначала он увидел то, что видел на сотнях столов: лицо, которое уже никому не принадлежит. Серо-белое, восковое, с размытыми, как на старой фотографии, чертами. Потом увидел то, чего на сотнях столов не было. Волосы были причёсаны. Ровно, на пробор, влажной расчёской, и на висках ещё блестели полоски от зубьев.

— Это кто сделал?

Гена переступил с ноги на ногу.

— Я. А что? Я сверху только. Не положено ему лохматым.

— Гена, — сказала Кравец.

— Я ничего не трогал. Я только сверху.

Костюм был тёмный, в тонкую полоску, двубортный, с широкими лацканами, какие носили лет двадцать пять назад. Ткань от ила стала жёсткой, как брезент. Воротник рубашки стоял вокруг шеи, как хомут на жеребёнке.

— Костюм не по размеру, — сказал Архипов. — Шили на человека килограммов на тридцать тяжелее.

— Он крупный был, — сказал Гена.

— Гена.

— Я в смысле — костюм крупный.

На левом лацкане был значок. Маленький, эмалевый, синий с серебром: плотина, над ней молния, по кругу надпись — «30 лет Ясноводской ГЭС. 1957–1987». Гена протянул руку и тронул значок кончиком пальца — не так, как трогают улику, а так, как в церкви трогают край иконы, когда думают, что никто не видит.

— Сам, — сказал он негромко. И замолчал.

— Гена.

— Молчу. Я ничего.

Архипов перевёл взгляд на руки. Их, видимо, разняли при подъёме, и теперь они лежали вдоль тела — узкие, жёлтые, с длинными ногтями. Ногти были длинные, но ровные на концах. Когда-то их стригли — аккуратно, не один раз, кто-то, кто умел, — а потом перестали.

— Кто ему стриг ногти? — спросил Архипов.

Кравец и Гена посмотрели на него.

— В смысле? — сказала Кравец.

— Их стригли. Ровно, ножницами, регулярно. Потом перестали. — Он услышал свой голос со стороны: ровный, чуть громче, чем нужно. — Утопленникам ногти не стригут. Следовательно, какое-то время за пожилым человеком осуществлялся уход.

— Эксперт скажет, — сказала Кравец.

В груди у Архипова что-то сдвинулось и встало поперёк, как шкаф в узком коридоре. Он отвернулся к стене, достал ингалятор, встряхнул — погремушкой, по звуку — и вдохнул. Задержал. С края стола капало: раз — пауза — раз. Кафель на стене был жёлтый, и в одной плитке кто-то давно отбил угол.

Когда он повернулся, Кравец смотрела не на него, а на ингалятор у него в руке. Потом отвела глаза.

— Пятаки у меня, в пакете, — сказала она. — Посмотрите?

— Завтра.

Гена потянул простыню на лицо. Движение было медленное, и прежде чем ткань легла, Гена пригладил ладонью пробор — быстро, в последний раз, как мать приглаживает сыну вихор перед школьной фотографией.

6

Вечером Кравец отдала ему материал восемьдесят восьмого года — копию, четырнадцать листов в картонной папке с завязками.

— Там немного, — сказала она. — Тогда много не писали.

В номере было тридцать один градус. Архипов знал это точно, потому что на стене висел пластмассовый градусник с рекламой «Ясноводского энергетика», и до ночи он смотрел на него чаще, чем на часы. Он лёг на кровать поверх покрывала, в трусах, положил на грудь мокрое полотенце и развязал тесёмки.

На обложке фиолетовыми чернилами, от руки: «Материал проверки по факту исчезновения гр. Шадрина Л., 1930 г. р., директора Ясноводской ГЭС».

За весь день он не услышал этой фамилии ни разу. Её не сказал начальник, не сказала администратор, не сказала Кравец, и не сказал Гена, который причесал этого человека на пробор. Она была здесь только на бумаге, фиолетовым.

— Шадрин, — сказал Архипов вслух, в пустом номере.

Ничего не произошло. Вентилятор гудел и не крутился. Где-то на Нагорном залаяла собака и перестала.

Внутри было то, что он и ожидал. Рапорт дежурного. Схема места на дамбе, от руки, с кривой стрелкой. Акт водолазов на полстраницы: «обследовано дно в районе... автомашина не обнаружена». Справка метеостанции: «В ночь с 18 на 19.08.88 грозовая деятельность без осадков». И объяснение свидетеля — одна страница, записанная круглым, почти школьным почерком:

«Я, Лунин А. В., 1966 г. р., освобождённый секретарь комитета ВЛКСМ Ясноводской ГЭС, в ночь с 18 на 19 августа около 23 ч 40 мин находился на берегу у дамбы, где проверял, нет ли на воде подростков из трудового отряда. При вспышке молнии видел автомашину ГАЗ-24 чёрного цвета, которая двигалась по дамбе от плотины без света фар. Кто находился за рулём, не видел. При следующей вспышке машины на дамбе не было. Звука удара не слышал из-за грома. С моих слов записано верно, мною прочитано».

Архипов прочёл это дважды. «При вспышке молнии». Он взял из книжки карандаш и записал в блокнот: «без фар — зачем?» Ниже: «удара не слышал — гром был? сухая гроза?». И ещё ниже, сам не зная зачем: «1966».

Ровесник. Двадцать два тогда, сорок четыре сейчас. Где-то в этом городе жил человек его возраста, который в ночь на Спас восемьдесят восьмого стоял на берегу и между двумя молниями видел, как чёрная машина без фар едет по дамбе, а потом — не видел.

Ингалятор, когда он встряхнул его в очередной раз, почти не отозвался. Запасной лежал в машине.

Он оделся и спустился — пять этажей, медленно, как несут полную чашку. Улица была пустая и тёплая, как нагретая ванна. Со стороны хлебозавода тянуло горячим хлебом — ночная смена, — и запах мешался с дымом, и было непонятно, где кончается одно и начинается другое. «Форд» стоял под фонарём, и весь, от крыши до колёс, был покрыт тонкой серой пылью. Пепел. За вечер с левого берега на город нанесло пепла, и машина стояла седая.

Запасной ингалятор лежал в бардачке, под конвертами. Чтобы его достать, пришлось взять конверты в руку. Их было одиннадцать. Он не пересчитывал — просто знал, сколько, как знают, сколько ступенек в собственном подъезде. Бумага была тёплая. На каждом в углу стоял синий штамп, и Архипов знал первое слово штампа — «Государственное» — и дальше не читал ни разу, как не читают дальше первой строки договор, который всё равно подпишешь.

Он положил конверты обратно, резинкой вверх, закрыл бардачок коленом и остался сидеть в машине, с закрытыми окнами, и дышал из нового ингалятора, и считал вдохи.

Через лобовое стекло, сквозь пепел, была видна плотина. Её верх отсюда, снизу, отмечала цепочка фонарей на парапете — жёлтых, размытых дымом, ровных, как бусины на нитке. Он смотрел на них без мысли, как смотрят на огни в поезде.

Один фонарь погас. Потом загорелся, а погас следующий. Потом следующий.

По гребню плотины шла машина. Её самой не было видно, только то, как она по очереди закрывала собой фонари, — медленно, ровно, без света фар. Какого она цвета, отсюда было не понять. Ночью все машины чёрные.

Где-то над серединой плотины фонари перестали гаснуть. Машина то ли доехала, то ли остановилась.

Архипов посмотрел на часы на приборной панели. Было 23:40. Часы спешили минуты на три, и он давно собирался их перевести.

Глава 3. Записки о здравии

29 июля 2010 года

1

Утром Архипов позвонил Кравец из буфета, где вместо завтрака дали варёное яйцо, ломоть батона и чай, который пах тиной так же, как вода из крана.

— Свидетель по восемьдесят восьмому. Лунин. Жив?

— Жив, — сказала Кравец. Было слышно, как она что-то жуёт. — Он теперь отец Арсений. Часовня на Камне, вы мимо проезжали.

— Священник.

— Иеромонах. — Она помолчала. — Вы с ним поаккуратнее.

— В каком смысле?

— В прямом. Его тут любят. Эксперт в двенадцать, я наберу. Я к детям.

Она отключилась. Архипов доел яйцо. Батон был свежий, ещё мягкий, и пах так сильно, что казалось, это не батон пахнет, а весь город, и буфет в нём — просто место, где этот запах собрали погуще.

Дорога на Камень шла по дамбе, мимо светлого пролёта ограждения, и сворачивала вверх, на обрыв, по гравию, который стрелял из-под колёс в днище. Наверху была площадка, три машины, велосипед, прислонённый к берёзе, и валун.

Валун был серый, гранитный, в рост человека, и на нём висела бронзовая доска. Архипов прочёл: «Здесь в ночь на 19 августа 1988 года трагически погиб директор Ясноводской ГЭС, почётный гражданин города...» Дальше шло имя, но имени не было. Бронза в этом месте была светлая, почти золотая, и буквы стёрлись до гладкого, так что прочесть их можно было разве что пальцами. Остальной текст стоял тёмный, в зелёной патине, чёткий, как в день отливки. Стёрлось только имя.

Пока он смотрел, мимо прошла старуха в белом платке. Она, не останавливаясь, приложила ладонь к светлому месту на доске — туда, где было имя, — перекрестилась и пошла к часовне. Так трогают перила, поднимаясь по лестнице, не думая, на ходу.

У крыльца она обернулась и посмотрела на него, прищурившись, как смотрят на солнце.

— Вы из области?

— Из области.

— Правду говорят, что он целенький? — Она спросила это шёпотом, подавшись к нему, и от неё пахло валерьянкой и хозяйственным мылом. — Что как живой лежит?

— Кто говорит?

— Все говорят. — Она подумала. — Двадцать два года под водой, а целенький. Это ж не всякого вода так держит. Это ж она, значит, его не брала.

— Почему не брала?

Старуха посмотрела на него так, будто он спросил, почему днём светло, поправила платок и, ничего не ответив, вошла в часовню. Дверь за ней закрылась мягко, на войлоке.

Часовня стояла на краю обрыва, белая, бревенчатая, маленькая, с одной маковкой, и из-за неё открывалось водохранилище — вернее, дым над ним. Там, где по расчёту Архипова должна была быть колокольня, дым был чуть темнее. Больше ничего видно не было.

2

Внутри было прохладно. Архипов не сразу понял откуда: сруб держал ночной холод, как термос, и отдавал его понемногу, и после улицы это было как войти в воду. Пахло воском, лампадным маслом и свежим хлебом, а под всем этим — едва-едва — тиной, потому что тиной в Ясноводске пахло всё.

Иконостас был маленький, в два ряда, с бумажными иконами под стеклом. Горели свечи. А на правой стене, отдельно от икон, в резном киоте с застеклённой дверцей, висела не икона.

Это была фотография. Крупный мужчина в двубортном костюме смотрел не в объектив, а чуть выше, как смотрят на площадь с трибуны. Широкие лацканы, тонкая полоска, на левом лацкане — значок. Костюм сидел на нём тесно, пуговицы тянули ткань. Перед киотом горела красная лампада, и её огонёк отражался в стекле как раз там, где у мужчины было сердце.

Архипов смотрел на полоску, на лацканы, на значок. Вчера этот костюм лежал на столе в подвале, обложенный мешками со льдом, и висел на своём хозяине, как на вешалке. Здесь он был ему тесен.

Он отметил это на склад и понял, что склад со вчерашнего дня заполняется быстрее, чем он успевает разбирать.

— Отец Арсений на кормлении, — сказал кто-то рядом. — Кошек кормит, за часовней. Благословил вас подождать.

Архипов не слышал, как он подошёл. Это был юноша лет девятнадцати, высокий и узкий, в чёрном подряснике, который на нём, в отличие от всего остального в этом городе, не был ни помят, ни мокр под мышками. Бледный, с коротко остриженными волосами, с лицом, на котором ещё ничего не было написано. В руке он держал фланелевую тряпочку и, пока говорил, протирал ею стекло киота — там, где уже было чисто.

— Он знал, что я приду?

— Все знают, что вы приехали.

Он сказал это без улыбки, как сообщают расписание служб.

— Это ведь не икона, — сказал Архипов.

— Не икона. Епархия не возражает. — Юноша провёл тряпочкой по стеклу ещё раз. — Это раб Божий Лев. Он город построил. Отец Арсений говорит, поминать надлежит тех, кому обязаны.

— А лампада?

— Не гаснет с девяносто восьмого года. Отец Арсений доливает сам. Никому не доверяет.

Старуха в белом платке, та, что трогала доску, купила у Даниила свечу, подошла — не к иконостасу, а к киоту — и поставила её в песок перед фотографией. Потом что-то сказала шёпотом, быстро, как говорят по телефону межгород, когда минуты дорогие, и поцеловала стекло. Там, где у мужчины на фотографии было плечо. Когда она отошла, Даниил шагнул к киоту и протёр тряпочкой след от её губ — сразу, не дожидаясь, пока она выйдет, одним движением, привычным, как у официанта, который смахивает крошки со стола.

Архипов посмотрел на огонёк. Двенадцать лет. Он попробовал представить себе двенадцать лет, в течение которых каждый вечер кто-то приходит и доливает масло, чтобы не погасло, — и не смог, потому что представлял, что было бы, если бы однажды вечером никто не пришёл.

У входа, на столике со свечами, стояла корзинка, накрытая льняным полотенцем. Запах хлеба шёл оттуда. Юноша, заметив взгляд, приподнял край полотенца. Под ним лежали просфоры — маленькие, двухъярусные, как игрушечные куличики, с гладкими смуглыми боками. На верхушке каждой была оттиснута печать: крест, а под ним волнистая черта, как на детском рисунке моря.

— Необычная печать, — сказал Архипов.

— Отец Арсений заказывал. Крест над водой. Здесь так подобает.

— Где вы их берёте?

— Сам пеку. — Юноша опустил полотенце и разгладил его ладонью. — В четыре встаю. По бабушкиному рецепту. Она тридцать пять лет на хлебозаводе отработала, в ночную. Теперь ничего не помнит. А рецепт я помню.

Он сказал это просто, и было в этом что-то почти хорошее — в мальчике, который в четыре утра печёт хлеб по рецепту бабушки, забывшей всё, включая рецепт. Архипов посмотрел на его руки. Руки были отмыты до красноты, но в складках у ногтей, где кожа мягкая, осталась мука — белые полумесяцы. Юноша почувствовал взгляд, спрятал руки в рукава подрысника и сказал:

— Простите. Не домыл.

— Как вас зовут?

— Даниил.

— Вы здесь один?

— Отец Арсений. Я. И староста.

— Кто староста?

— Олег Николаевич Рябов. Главный инженер ГЭС.

— Родственник?

Даниил поправил полотенце на корзинке, хотя оно лежало ровно.

— Отец, — сказал он.

Он произнёс это так же, как «главный инженер»: должность, строчка в анкете. Архипов отметил и это — и то, что отметил. Сам он в анкетах, в графе «отец», много лет писал фамилию, имя, отчество и звание, полностью, без сокращений, чтобы не оставалось места ни для чего другого.

— Вы видели, как его поднимали? — спросил он.

— Нет. — Даниил помолчал. — Отец Арсений ходил. Потом вернулся и долго молился. Мы с ним Псалтырь читали до утра. Надлежит теперь отпеть по чину. Двадцать два года он был без отпевания.

— Его отпевали заочно, я думаю. Когда признали умершим.

— Заочно — это как письмо без адреса, — сказал Даниил. — Отец Арсений так говорит.

У двери, на стене, висел деревянный ящик с двумя прорезями. Над левой было выжжено «О здравии», над правой «Об упокоении». Рядом на полочке лежала пачка бумажных бланков и карандаш, привязанный к гвоздю бечёвкой.

— Отец Арсений все читает, — сказал Даниил. — Каждое имя. Бывает, по часу. Люди стоят.

— А старые? Что с ними потом?

Даниил открыл шкафчик под полкой. Там лежали пачки записок, перетянутые суровой ниткой, и на каждой пачке — картонка с годом. 1998, 1999, 2000... до нынешнего. Пачки были толстые, как кирпичи.

— Он ничего не выбрасывает. Говорит, имя выбросить — всё равно что человека.

Архипов взял наугад — картонка «2007» — и пропустил записки под большим пальцем, как колоду. Шариковая ручка, карандаш, фломастер; почерки старческие, детские, аккуратные учительские; имена мелькали, как станции в окне электрички. «О здравии: Николая, Раисы, отр. Кирилла, Анны, Анны, Олега...» «О здравии: Валентины, Виктора, Павла...» «О здравии: Феодосия». «Об упокоении: воина Сергея...» «О здравии: Андрея, Нины, мл. Дарьи, Нины...»

Что-то мягкое ткнулось ему в ногу. Рыжий кот, худой, с разорванным ухом, обтёрся о его брюки, оставив на них рыжую шерсть, и сел, глядя на дверь.

— Отец Арсений идёт, — сказал Даниил.

Архипов положил пачку на место. Нитку он завязал обратно бантиком — так, как она была завязана. Он заметил, что сделал это, только когда закрывал шкафчик.

3

Лунин не вошёл. Когда Архипов обогнул часовню, тот ещё сидел на корточках над миской и кормил кошек.

Кормил он их с руки. Брал из миски размоченный в молоке хлеб, скатывал в пальцах шарик и протягивал — не бросал, а именно протягивал, и ждал, пока кошка возьмёт. Каждой по очереди. Каждую он называл, тихо, уменьшительно: Муська, Дымок, Старушка, Цыган. Кошки не дрались. Они сидели полукругом и ждали очереди, как не ждут кошки нигде, и та, до которой очередь дошла, брала хлеб с ладони осторожно, одними губами, словно боялась поцарапать. Самая старая, облезлая, с бельмом, ела у него из горсти, уткнувшись в неё целиком, и он держал ладонь неподвижно, пока она не закончила.

Потом он встал, отряхнул подрысник на коленях и пошёл к берёзе, к рукомойнику, прибитому к стволу, и стал мыть руки.

Мыл он их долго. Намыливал, тёр ладонь о ладонь, между пальцами, запястья, смывал, стучал снизу по носику рукомойника, и носик звякал, и снова намывливал. Вокруг сидели кошки — Архипов насчитал шесть, и седьмая, рыжая, вышла за ним из часовни — и смотрели на пустую миску из-под размоченного хлеба, как смотрят на закрытый магазин.

Потом Лунин вытер руки полотенцем, висевшим на сучке, и повернулся.

— Глеб Андреевич, — сказал он. — Мы вас ждали.

Ему было сорок четыре года, это Архипов знал из папки. Выглядел он ни на сколько. Худой, в чёрном подрыснике, вытертом на локтях до блеска, с коротко подстриженной седоватой бородой и светлыми глазами. Лицо было из тех, которые перестаёшь помнить, пока ещё в них смотришь. На жаре, в чёрной шерсти, он не потел. Это было первое, что Архипов про него понял.

— Пойдёмте в сторожку. Там прохладнее. Вам ведь тяжело сейчас дышать?

Архипов не ответил. Он не помнил, чтобы доставал при ком-нибудь ингалятор со вчерашнего утра — кроме подвала.

Сторожка была в двух шагах, такой же сруб, только без маковки. Внутри — стол, две лавки, табурет, узкая железная кровать, застеленная серым одеялом без единой складки, чайник на плитке, иконы в углу. Ни вентилятора, ни радио. Прохладно, как в погребе.

Лунин поставил чайник, достал две чашки и блюдце, положил на блюдце просфору из кармана и подвинул к Архипову. Сам сел в угол, на табурет, у холодной печки. Архипов сел за стол и через минуту заметил, что лавка стоит так, что сидеть на ней можно только лицом в этот угол.

Говорил Лунин тихо. Чтобы расслышать, приходилось наклоняться.

— Вы давали объяснение в восемьдесят восьмом, — сказал Архипов.

— Давал? — Лунин подумал, как будто вспоминал не событие, а слово. — Давал. Мы тогда все давали.

— Кто — все?

— Весь город, Глеб Андреевич. Разве нет?

— В материале только ваше.

— Значит, остальных не записали. Тогда много не писали.

Кравец вчера сказала то же самое, теми же словами. Архипов отметил это и промолчал.

— Расскажите, что видели.

— В ночь на девятнадцатое августа, в двадцать три тридцать восемь, я стоял на берегу под дамбой, — сказал Лунин ровно, как читают по бумаге. — У меня был отряд. Двадцать шесть человек, всем по шестнадцать. Спас, лодки, кто-то вино принёс. Мы боялись, что кто-нибудь утонет. — Он помолчал ровно столько, сколько нужно, чтобы эта фраза успела лечь. — Была молния. На дамбе машина, без фар. Следующая молния — машины нет.

— В объяснении — около двадцати трёх сорока.

— Протокол округляет. А я смотрел на часы. У меня были «Командирские», со светящимися стрелками. Мне их отец... — Он остановился, совсем ненадолго, как останавливаются на лестнице, когда нога ищет ступеньку, которой нет. — Мама подарила. На совершеннолетие.

Лицо у него при этом не изменилось. Чайник на плитке начал тихо шуметь.

— Звук удара?

— Гром. Сухая гроза, вы же читали. Гремело всю ночь, без дождя. Как будто кто-то двигал на небе мебель.

— Вы подошли к месту?

— Подошёл? Нет. Побежал — в обратную сторону, к ребятам. Мне было двадцать два года, я за них отвечал.

— Все были на месте?

— Все. — Лунин чуть наклонил голову. — Бог миловал.

Чайник закипел. Лунин встал, налил, поставил чашку перед Архиповым и снова сел в угол. Чай был тёмный и пах чабрецом — первое в Ясноводске, что не пахло тиной.

— Вы его хорошо знали? — спросил Архипов.

— А кто его здесь не знал? — Лунин смотрел не на него, а на свои руки, лежащие на коленях, чистые, красные от мыла. — Мама у него в приёмной работала. Недолго. Он город построил, Глеб Андреевич. Жильё, санаторий, больницу. Колбаса в магазинах была. Мы все при нём выросли.

— И трагически погиб.

— Трагически погиб, — повторил Лунин, и слова в его голосе легли так гладко, как ложатся слова, которые повторяли много раз, пока они не стали круглыми, как те буквы на доске.

— Не в восемьдесят восьмом.

Лунин поднял глаза.

— Это вам эксперт сказал?

— Это видно.

— Вода у нас на дне холодная, Глеб Андреевич. Ил. Сохраняет. — Он помолчал. — Бог даст, эксперты разберутся.

«Бог даст» он произнёс так, что дальнейший разговор об этом стал как будто неуместен. У Архипова был готов следующий вопрос, и он заметил, что закрыл рот, так его и не задав. В области его называли «сухарём». Здесь его развернули одним словом, как лавку.

— Дети, которые его нашли, — сказал Архипов. — Вы их знаете?

— Костю Пахомова? — Лунин не удивился, что об этом зашла речь, и не удивился, что знает. — Хороший мальчик. Считает всё. Ступеньки, ворон, свечи на канун. Мать у него по воскресеньям у нас, на ранней, после ночной смены — приходит и засыпает стоя. — Он помолчал. — Вы их не ругайте, Глеб Андреевич. Они ведь не виноваты, что нашли. Искать — не грех. Грех — когда найдёшь и отвернёшься.

— А если найдёшь и не скажешь?

— А это, — сказал Лунин мягко, — смотря кому не скажешь.

— Девочка видела у колокольни лодку. Ночью, с фонарём.

— На Спас у нас с фонарями плавают. — Лунин посмотрел в окно, в дым, туда же, куда смотрел Архипов с крыльца. — Но до Спаса ещё три недели.

— Тогда кто?

— А кто у нас ночью плавает, Глеб Андреевич? Рыбаки. Или кому не спится. В такую жару многим не спится.

— Вам?

— Мне? — Он улыбнулся. — Я не гребец. Я на вёсла двадцать лет не садился. Даня вон и то чаще.

— Вы всё время говорите «мы», — сказал Архипов. — Кто — мы?

— Приход. Город. — Лунин развёл чистыми ладонями. — Вы теперь тоже немножко «мы», раз приехали. Здесь по-другому не получается. Здесь все при ком-нибудь.

Он помолчал, глядя на свои руки.

— Теперь его надо похоронить. — По-человечески. Мы похороним. Город придёт. Раб Божий Лев столько лет ждал.

— Ждал чего?

— А чего ждут, Глеб Андреевич? — Лунин улыбнулся, и улыбка у него была хорошая, тёплая, из тех, что бывают у врачей в детских поликлиниках. — Чтобы о них вспомнили.

В груди у Архипова сдвинулся знакомый шкаф. Он сидел прямо и дышал носом, на четыре счёта. Ингалятор лежал в кармане, и он знал, что не достанет его — не здесь, не при этом человеке, — хотя не смог бы объяснить почему.

— Здесь хорошо дышится, — сказал Лунин, будто в ответ. — Сруб. Дерево дышит за нас.

Потом он сказал, всё так же тихо, глядя на Архипова с какой-то даже нежностью:

— Вы меня никак не называете, Глеб Андреевич.

— Простите?

— За весь разговор — ни разу. Ни по имени, ни по сану. Это ничего. Многим неловко называть чужого человека отцом.

— Мне не неловко.

— Конечно, — сказал Лунин.

Он встал, взял с блюда просфору, которую Архипов так и не тронул, и вложил её Архипову в руку — сам, своей рукой, сомкнув ему пальцы, как вкладывают ребёнку монету.

— Возьмите. Даня пёк. Сегодня.

Проводил он его до двери сторожки, и кошки пошли следом, все семь, цепочкой.

— Глеб, — сказал Лунин на пороге, как будто пробуя имя на вес. — Вас ведь Глебом крестили? Хорошее имя. Страстотерпец. — Он смотрел не на Архипова, а куда-то ему за плечо, на дым над водой. — Его ведь брат убил. Родной. За отцово место. А он даже не защищался. Сидел в лодке и ждал.

— Меня не крестили, — сказал Архипов.

— Это ничего, — сказал Лунин. — Имя-то всё равно дали.

4

В часовне Даниил стоял у столика со свечами и складывал записки в стопку, выравнивая края. Когда Архипов проходил мимо, он поднял голову.

— Напишите, — сказал он. — О здравии, об упокоении. Отец Арсений прочтёт.

Архипов хотел сказать «нет». Вместо этого он взял бланк — «О здравии» уже было напечатано сверху, с крестиком, — и карандаш на бечёвке. Бечёвка оказалась короткой: чтобы писать, пришлось наклониться к полке, и она держала его руку у самой стены, как держат на поводке.

Он написал «А».

Потом карандаш остановился. Архипов смотрел на букву. Буква была большая, печатная, с перекладиной чуть ниже, чем надо. Дальше рука не шла, как не идёт по ступенькам нога, когда в темноте кончилась лестница.

Он положил карандаш. Карандаш качнулся на бечёвке и стукнул о стену.

— Я не местный, — сказал Архипов.

— Здесь все имена читаются, — сказал Даниил. — Отец Арсений ни одного не пропускает.

Архипов вышел. На крыльце, обернувшись — зачем, он потом не мог себе объяснить, — он увидел через открытую дверь, как Даниил берёт его бланк с одной буквой, аккуратно, двумя пальцами, складывает пополам, разглаживает сгиб ногтем и опускает в прорезь с надписью «О здравии».

Возле валуна он замедлил шаг. Бронзовая доска была в тени берёзы, и светлое место на ней, где раньше было имя, тускло блестело, как блестит натёртая ручка двери, за которую

берутся все. Архипов заметил, что его рука поднялась — сама, на полдороге, ладонью вперёд, — и опустил её. Потом вытер ладонь о брюки, хотя ничего не трогал.

В машине было сорок градусов. Архипов положил просфору на пассажирское сиденье, на книжку, и она легла усатому лицу прямо на лоб, печатью вверх — крест над волной. Он смотрел на это какое-то время. Потом завёл мотор, чтобы крутился хотя бы вентилятор.

Телефон дрогнул. Кравец: «Эксперт приехал. В 13. Грачёв ассистирует, морг забит».

Архипов открыл блокнот. Под вчерашним «1966» он написал: «23:38. Командирские». Подумал и приписал: «отец?» — и тут же зачеркнул, плотно, в несколько линий, так что осталось одно чёрное пятно и вопросительный знак, который он зачеркнуть забыл.

Над водой, там, где должна была быть колокольня, дым оставался чуть темнее, чем везде.

На часы, думал Архипов, смотрят в двух случаях: когда опаздывают и когда ждут. Ночью на берегу, в двадцать два года, опаздывать было некуда.

Глава 4. Дважды умерший

29 июля 2010 года

1

У Пахоминых на кухне горбушка лежала на краю стола, отдельно, на клеёнке с вишнями. Нина её увидела сразу, как вошла, и ничего не сказала. У неё дома горбушку съедали первой — кто успеет. Обычно успевал средний.

Люба Пахомова стояла у плиты, спиной, в халате, с мукой на руках до локтя, и мешала в кастрюле что-то, что не нужно было мешать. Радиоточка на стене бубнила про пожары в Рязанской области. Костя сидел на табуретке, правая нога на другой табуретке, ступня замотана бинтом, и бинт уже пожелтел.

— Так, — сказала Нина и села напротив. — Рассказывай. По порядку. С цифрами. Ты это умеешь.

Костя посмотрел на мать. Мать мешала.

— Пять бутылок, — сказал Костя. — «Девятка». Одну не допили, там осталась.

— Дальше.

— От лестницы до колокольни — двадцать шесть минут. Я на телефоне смотрел. Потом я провалился. Кристина позвонила, он заиграл. Под илом. Я нашёл.

— Сколько раз свет включал?

Он поднял на неё глаза — удивлённо, как будто она спросила что-то, чего не мог знать никто.

— Четыре. Он пятнадцать секунд горит.

— Что видел? По разу.

— Рукав. Потом значок. Потом лицо. Потом ноги. — Он помолчал. — Босые.

— На глазах что?

— Монеты. На правой пятёрка. Как в дневнике.

— А на левой?

— Не видел. Экран погас.

Нина записывала в блокнот, на колене, мелко. Люба у плиты перестала мешать и стояла, держа ложку над кастрюлей, и с ложки капало.

— Ещё что.

— Он был причёсанный, — сказал Костя. — На пробор. Ровно. Как по линейке.

— Точно причёсанный? До того, как его подняли?

— Точно.

Нина записала «пробор — ДО Гены» и подчеркнула два раза.

— Лодка.

— Свет жёлтый. Как керосинка. Вокруг колокольни плыл. Уключина скрипела. — Костя смотрел в стол, на вишни. — Шесть гребков. На шестом остановился. Потом погас. Не уплыл. Погас.

Нина написала «б» и обвела кружком.

— Вадика ты не бойся, — сказала Нина. — Я у него была в семь. Он мне сказал: «Нас там не было». Три раза сказал. Потом заплакал.

Костя поднял голову.

— Вадик?

— Вадик, — сказала Нина. — Шестнадцать лет, метр восемьдесят. Сидел на кухне и ревел, а мать ему соплю вытирала полотенцем. — Она закрыла блокнот. — Так что никто тебя не выдал. И ты никого не выдал. Все сами.

Костя ничего не сказал. Он смотрел на свою ногу, на жёлтый бинт, и шевелил пальцами, как будто проверял, все ли на месте.

— Молодец, что считал, — сказала Нина и встала. — Нога болит?

— Нет.

— Болит, — сказала Нина. — Люба, своди его в поликлинику. Там ил в ране, дёргать начнёт.

— А кроссовок отдадут? — спросил Костя.

— Отдадут. Когда-нибудь.

В прихожей Люба догнала её и взяла за локоть мучной рукой, и на форменной рубашке остался белый след, как от ладошки на окне.

— Нин. — Шёпотом. — Это правда Сам?

— Экспертиза в час.

— Ты ж его помнишь.

— Все помнят.

— Твоя мать ему тогда, на проходной...

— Люба, — сказала Нина. — Ногу. Сегодня.

Она отряхнула рукав и вышла. На лестнице было сорок одна ступенька. Она это знала, потому что Костя сказал ей однажды, года три назад, когда она его, двенадцатилетнего, вела домой после драки у ДК. Тогда он тоже всю дорогу считал.

2

У двери в подвал, на солнцепёке, стояли люди. Четыре женщины и старик. Женщины — в тёмном, с сумками, и в сумках, Нина знала, лежали вещи: платье, платок, тапочки, иногда новое бельё с магазинными бирками, которое берегли десять лет «на смерть». Жара вторую неделю забирала стариков — по двое, по трое в сутки, — и Гена отдавал их с задержкой, потому что вскрывать было некому. Одна из женщин, рыжая, с красным лицом, узнала Нину и шагнула к ней.

— Нин, маму третий день не отдают. Ты скажи им. Там же... — Она не договорила и посмотрела на железную дверь. — Там же жарко.

— Скажу, Галь.

— А правда, что его сегодня режут? — Галя понизила голос. — Самого?

— Галь. Маму завтра отдадут.

Женщина кивнула и отступила в тень, к остальным, и Нина услышала, как за её спиной, по цепочке, шёпотом, от одной к другой, пошло одно и то же слово.

В прозекторской было тридцать градусов. Кондиционера не было никогда. Холодильная камера за стеной работала с перебоями, на пределе, и её компрессор то затихал, то начинал хрипеть, как старик на третьем этаже. Мешки со льдом с рыбзавода лежали вдоль стола и оседали, и из-под них на кафель текла вода, мутная, с чешуйками.

И была муха. Одна. Большая, зелёная, медленная от жары. Гена гонялся за ней с мухобойкой с утра и не мог попасть.

Эксперт из области был лет шестидесяти, в очках на резинке, в бахилах поверх сандалий. Фамилия его была Шульгин. Он поздоровался с Ниной за руку, не снимая перчатки, посмотрел на Архипова, который встал у двери с ингалятором в кулаке, и сказал:

— Вы, молодой человек, если что — выходите. Тут пол скользкий.

Архипову было сорок четыре. Нина это отметила и отметила, что Архипов ничего не ответил.

Ассистировал Грачёв. Морг был забит, санитаров не хватало, и главврач прислал хирурга — «на пару часов, Павел Сергеевич, вы же всё равно после ночи». Пашка Грачёв. Лысина, очки, которые запотевали, когда он наклонялся, и руки — спокойные, быстрые, в которых

инструменты становились как будто легче. С первого класса Нина знала, что он заикается. И знала, что за операционным столом заикаться перестаёт. За любым столом, где режут.

Он натягивал перчатки у раковины, палец за пальцем, и Нина подошла к нему, пока Шульгин раскладывал инструменты.

— Паш. Ты чего согласился? После ночи.

— Г-главврач п-попросил.

Он щёлкнул манжетой перчатки, шагнул к столу, встал на своё место, и голос у него выровнялся, как выравнивается машина, когда съезжаешь с грунтовки на асфальт.

— И я хотел посмотреть.

— На что?

— Какой он.

— И какой?

Грачёв не ответил. Он смотрел на лицо под лампой — на пробор, на восковой лоб, на впалые виски — так, как смотрят на фотографию в чужом альбоме, когда кажется, что где-то уже видел этого человека, только моложе.

— Скальпель, — сказал он. Чисто, без запинки.

Нина достала из сумки зелёное яблоко — «семеренко», твёрдое, кислое — и откусила. Кислое перебивало запах. Шульгин покосился на неё поверх очков.

— Правильно, — сказал он. — Кислое. Я сорок лет лимон с собой ношу.

Костюм сняли, не разрезая, — Грачёв и Шульгин вдвоём, медленно, рукав за рукавом, как снимают пальто с пьяного. Ткань от ила стала жёсткой, и при каждом движении она хрустела. Шульгин проверил карманы. Пиджак, брюки, жилет. Пусто.

— Совсем пусто, — сказал он. — Даже крошек нет.

— Так не бывает, — сказала Нина.

— Не бывает, — согласился Шульгин. — У мужика в кармане всегда что-нибудь. Спичка, чек, пуговица. А тут кто-то вытряхнул. Или вывернул и почистил. — Он поднёс пиджак к лампе, посмотрел подкладку. — Ателье номер три. Ясноводск. Хорошее было ателье. Мне в семьдесят девятом тут брюки шили.

Под костюмом тело было такое, что Нина перестала жевать.

Кожа и кости. Буквально. Рёбра можно было считать глазами, как штакетник. Живот провалился внутрь, к позвоночнику. Всё было белое, серое, восковое, плотное, будто тело не сгнило, а наоборот — затвердело.

— Жировоск, — сказал Шульгин в диктофон. — Ил, холод, без кислорода. Как в банке. — И Нине, без диктофона: — Как сало в засолке. Лежит и лежит.

— Кахексия, — сказал Грачёв. — Выраженная.

— Выраженная, — повторил Шульгин. — Истощение. Весил он, я вам скажу, килограммов сорок пять. Это при росте метр восемьдесят два.

Нина посмотрела на руки. Руки лежали вдоль тела, узкие, жёлтые, с длинными ногтями. Она их запомнила другими. Руки она запомнила большими, на руле, с часами на браслете, и одна потом лежала на рычаге передач, а потом — не на рычаге. Она откусила яблоко.

— Ногти, — сказал от двери Архипов.

Все повернулись.

— Ногти стригли, — сказал Шульгин, не удивившись. — Регулярно, ровно. Потом месяца два-три не стригли. — Он посмотрел на Архипова поверх очков, внимательнее, чем в первый раз. — Вы это хотели услышать?

Архипов не ответил.

Шульгин перешёл к спине. Грачёв помог перевернуть. На крестце — старый рубец, широкий, белый, стянутый к центру. На лопатках такие же, поменьше.

— Прележни. Зажившие. Давние. — Шульгин тронул рубец пальцем. — Он лежал, товарищи. Не неделю. Годами лежал. Потом встал.

— Как — встал? — спросила Нина.

— Ногами. — Шульгин кивнул Грачёву, и они вернули тело на спину. — Сейчас увидите.

3

Он снял с ног бумажные пакеты, которые надели при подъёме. Под пакетами были ступни.

Нина видела много чего. Утопленников по весне, когда лёд сходит. Мужика, который неделю пролежал в гараже в июле. Девочку из Покровского. Она думала, что ступнями её не возьмёшь.

Ступни были без подошв. То есть подошвы были, но не кожа — кожи не было. Пятки и подушечки под пальцами стёрты до мяса, до чего-то тёмного, волокнистого, и в это тёмное были вбиты песок, мелкий гравий, чешуйки коры. Пальцы сбиты. Один ноготь, на большом, сорван целиком. По бокам стопы, где кожа уцелела, — пузыри, лопнувшие, засохшие, наслонённые друг на друга, как краска на старой двери.

— Прижизненное, — сказал Шульгин. Голос у него не изменился, но диктофон он поднёс ближе. — Прижизненное, повторяю. Есть реакция тканей. Он шёл. Несколько суток. Босиком или в чём-то, что развалилось по дороге. Шёл, пока было на чём.

В правой пятке, глубоко, торчало что-то рыжее. Шульгин взял пинцет и вытащил. Это была сосновая иголка — сухая, рыжая, длинная. Он подержал её против лампы и опустил в пакетик.

— Лес, — сказал он. — У вас тут всё лес.

Муха села на край стола, возле ступни. Гена замахнулся и не ударил.

— Сколько он шёл? — спросила Нина.

— Не скажу. Суток несколько. Больше двух. — Шульгин помолчал. — На таких ногах люди не ходят. А он ходил.

— Он пешком не ходил, — сказал Гена из угла. Сказал тихо, в стену, как говорят сами с собой. — Никогда. От проходной до машзала сто метров — и то на «Волге». Чёрная, блестит, водитель дверь открывает. Мы, пацаны, бегали смотреть, как он выходит. Одной ногой сначала. Ботинок — как зеркало.

— Гена, — сказала Нина.

— Я ничего. Я про ботинки.

Нина посмотрела на Грачёва. Грачёв смотрел на ступни и держал в руке зажим, и зажим был неподвижен.

Потом был череп. Нина вышла бы, но не вышла: стояла, жевала, смотрела в стену, на жёлтый кафель с отбитым углом, и слушала звуки, которые не надо описывать даже в протоколе. Потом Шульгин сказал:

— Опа.

Она посмотрела. На черепе, слева, над ухом, было отверстие. Круглое, ровное, аккуратное, как вырезанное стаканом в тесте. Края заросли, заоваливались, стали гладкими, как галька.

— Трепанация, — сказал Шульгин. — Зажившая. Давняя — лет двадцать, не меньше. — Он наклонился. — Хорошая работа, между прочим. Не районная. Кто-то его оперировал, товарищи, и оперировал грамотно. После серьёзной черепно-мозговой.

Грачёв снял очки. Протёр их о рукав халата, хотя они были не запотевшие. Надел.

— Н-нейрохирург, — сказал он.

— Точнее можно? — спросил Архипов. — Двадцать лет — это когда?

— Точнее — в области, в лаборатории. — Шульгин провёл пальцем в перчатке по краю отверстия, как по краю чашки. — Но я вам и так скажу. Фреза советская, ручная, такие

в областных нейрохирургиях стояли до девяностого года, потом пошло импортное. Кость заросла полностью, края округлились. Двадцать лет. Двадцать два. — Он пожал плечами. — Около того.

Никто ничего не сказал. Муха перелетела с края стола на лампу и затихла.

Нина услышала это «н-н» Грачёва снова, в голове, так, как слышат стук в двери ночью. За операционным столом Пашка не заикался. За любым столом, где режут. Ни разу при ней не заикался.

— Протезы, — сказал Шульгин, не заметив или сделав вид.

Он вынул изо рта верхнюю челюсть — пластмассовую, розовую, грубую — и повертел в пальцах.

— Казённые, — сказал он. — Такие ставят бесплатно, по линии соцзащиты. Дома престарелых, интернаты. Маркировки нет. Раньше номер выцарапывали, теперь экономят.

— Интернаты, — повторил Архипов от двери.

— Интернаты, — сказал Шульгин. — Или тюрьма. Но в тюрьме пролежней таких не бывает, там не дают лежать.

4

Опознание заняло четыре минуты.

Утром, от Пахомовых, Нина заехала в поликлинику ГЭС. Главврачом там двадцать лет была Тамара Ильинична — маленькая, накрахмаленная, с высокой причёской, которую жара не брала. Нина спросила про карту, и Тамара Ильинична не пошла в архив. Она встала, достала из ящика стола ключ на отдельном шнурке, открыла сейф в углу кабинета — там, где у других главврачей лежит спирт, — и вынула картонную папку, перевязанную тесёмкой бантиком.

— Я её не сдавала, — сказала она. — Когда признали умершим — полагалось сдать. Я не сдала.

— Почему?

Тамара Ильинична посмотрела на неё так, будто Нина спросила, почему у человека одна голова.

— Верните, — сказала она. — Обязательно верните. Под расписку.

В карте лежал снимок — рентгенограмма левого предплечья, 1975 год, коричневая, с загнутыми углами. «Упал с лестницы машзала, — было написано почерком врача, давно умершего. — От госпитализации отказался. Гипс снял сам на 12-й день».

Шульгин приложил снимок к лампе, потом развёл ткани на левом запястье мертвеца, и там, на кости, чуть выше сустава, был бугор — старая мозоль, срослось с углом, криво.

— Перелом лучевой кости в типичном месте, со смещением, — сказал он. — Срослось неправильно. Вот угол на снимке. Вот он же. — Он постучал пинцетом по кости, и звук вышел сухой, деревянный. — Совпадает. Плюс рост, плюс возраст, плюс, я так понимаю, костюм.

Он повернулся к диктофону.

— Фиксирую. Тело опознано как принадлежащее Шадрину Льву...

Гена уронил мухобойку. Она упала на кафель плашмя, со шлепком, как ладонь по щеке. Гена поднял её и перекрестился — мухобойкой, не заметив.

Шульгин посмотрел на Гену, на Нину, на Грачёва, на Архипова у двери. Потом выключил диктофон.

— Я что-то не то сказал?

Никто не ответил. Компрессор за стеной захрипел и затих.

— Ну, — сказал Шульгин. — Значит, дальше. Давность смерти — полтора, максимум два года. Не раньше второй половины две тысячи восьмого. Причина — острая сердечная недостаточность на фоне истощения. Следов насилия нет. Переломов свежих нет. Ничего нет. Сам умер.

Гена вздрогнул.

— Двадцать два года назад, — сказал Архипов, — он утонул.

— Двадцать два года назад, молодой человек, он, может быть, и утонул, — сказал Шулгин и стянул перчатки, одну, потом другую, выворачивая их наизнанку. — Но умер он позже.

Грачёв зашивал. Шил он быстро, ровно, большой изогнутой иглой, стягивая разрез от горла вниз, и считал стежки вслух. Негромко, себе под нос, как считают в операционной. Чисто, без запинки.

— Раз. Два. Три. Четыре. Пять.

На пятом он остановился. Постоял. Игла висела на нитке над грудью мертвеца, покачиваясь.

— Д-двадцать лет где-то лежал, — сказал Грачёв. Он не поднимал глаз от шва. — Без имени л-лежат в интернатах.

— Откуда знаешь? — спросила Нина.

— Т-трепанация. П-протезы. П-пролежни. — Он сглотнул. Лицо у него было белое, блеее, чем у того, на столе. — Так л-лежат, когда у человека н-нет фамилии.

Он снова взялся за иглу.

— Шесть, — сказал он чисто. — Семь.

5

Архипов стоял в коридоре, среди каталок, и дышал из ингалятора. Нина вышла следом. Яблоко она доела до огрызка и не знала, куда его деть, и держала в кулаке.

— В области интернатов тридцать четыре, — сказала она. — Психоневрологических девять. Плюс дома престарелых. Плюс больницы, где хроники лежат годами. Плюс соседние области. Плюс Москва. Двадцать лет назад документы — половина в огне, половина в подвале. — Она подумала. — Это как иголку в стогу. Только стог горит.

Архипов не ответил. Он смотрел на ступни, торчавшие из-под простыни на ближней каталке, — чужие, старые, с бирками на пальцах.

Нина посмотрела на его лицо. Лицо у него было как у её младшего, когда спрашиваешь про двойку, про которую уже знаешь. Она решила не спрашивать.

— Грачёв, — сказал Архипов наконец. — Вы его давно знаете?

— С первого класса.

— Он всегда заикается?

— Всегда. Кроме как за столом.

— А сегодня — за столом.

— Сегодня, — сказала Нина, — жарко.

Архипов убрал ингалятор в карман.

— Пахомов что-нибудь добавил?

— Причёсан был, — сказала Нина. — До Гены. В подклете уже был причёсан, на пробор. Пацан клянётся.

— Причёсан. Пятаки. Руки сложены. Карманы вывернуты. Босой. — Архипов перечислял медленно, будто раскладывал на столе. — Его собрали. Как собирают покойника дома, перед гробом.

— У нас бабки так делают, — сказала Нина. — Обмыть, причесать, пятаки, руки крестом. Карманы — чтобы с собой ничего не унёс. Чтобы не за чем было возвращаться.

— Кто у вас так делает?

— Все, кто хоронил хоть раз. — Она пожала плечами. — Полгорода.

— А вторая половина?

— Вторая — смотрела, как делают.

— И лодка, — сказал Архипов.

— Шесть гребков, — сказала Нина. — Потом свет погас. Пацан считал.

Она выбросила огрызок в ведро у двери, где лежали окровавленные бахилы, и пошла к выходу. На лестнице она вспомнила, что так и не посмотрела пятаки при свете.

6

Посмотрела вечером, в кабинете, когда все ушли.

Сначала позвонила домой. Трубку взял средний.

— Мам, папа макароны сварил, они слиплись.

— Масла положите.

— Положили. Всё равно слиплись. Мам, а правда, что Сам всплыл? У Лёхи бабка говорит — всплыл и пошёл.

— Кто пошёл?

— Ну Сам. Пешком. Она говорит, по дну ночью ходит, свои ботинки ищет.

— Лёхиной бабке, — сказала Нина, — надо давление мерить. Скажи папе, я в девять.

— Мам...

— В девять, — сказала Нина и положила трубку.

Пакет лежал в сейфе, на верхней полке, рядом с Костиным кроссовком. Кроссовок стоял носом к стенке, язычком наружу: ПАХОМОВ К. Нина своим тоже подписывала — всё, от кроссовок до трусов, перед каждым лагерем, маркером, крупно, потому что в лагере всё общее и всё теряется. Подписанное находится. Неподписанное — нет. Нина достала его, села за стол и включила лампу. Муха была и здесь — другая, наверное, но такая же, большая, медленная. Она ходила по стеклу, под которым лежали фотографии детей, по лицам, по щербатым улыбкам. Нина её не трогала.

Две монеты. Медные, тусклые, с налипшим по краю серым илом. Она потёрла одну большим пальцем через полиэтилен. Ил сошёл полосой.

Цифра «5». Колосья. «Копеек». И внизу, мелко, год.

Она перевернула вторую и потёрла её тоже.

Год был тот же.

Нина сидела и смотрела на них. Компрессора здесь не было, было тихо, только муха шуршала по стеклу и где-то внизу, в дежурке, играло радио.

Советские пятаки перестали быть деньгами в девяносто третьем. После этого их держали только старухи. У матери в серванте до сих пор стояла банка из-под растворимого кофе, полная советской мелочи, — «на похороны», говорила мать, потому что новые рубли на глаза класть нехорошо, они лёгкие и не лежат. Нина в детстве лазила в эту банку. Там были все годы вперемишку: шестьдесят первый, семьдесят третий, восемьдесят пятый. Никто их не сортировал. Берёшь две, какие попались, и кладёшь.

Эти две не попались. Эти две выбрали. Одного года — того самого. Кто-то держал их отдельно, не в банке, где-то в ящике, в шкатулке, в кармане, пятнадцать лет, двадцать лет. А потом достал и положил ему на глаза.

Она вспомнила, что в восемьдесят восьмом пятак был автобус. Она сама каждое утро опускала пятак в кассу, отрывала билет и ехала в школу, на задней площадке, у окна, и смотрела на плотину.

Два пятака. Туда и обратно.

Глава 5. Пятеро

Ночь с 29 на 30 июля 2010 года

Город узнал к вечеру.

Никто не объявлял. Галя Кочеткова, которой наконец отдали маму, сказала у подвала сестре, сестра — в очереди за водой у колонки на Первомайской, а там стояло человек двадцать с пустыми бутылками, потому что вода из крана пахла тиной. Гена после смены выпил у ларька у автостанции две бутылки «Жигулёвского» и сказал продавщице, не глядя на неё, в сторону плотины: «Два года». Продавщица спросила: «Чего — два года?» — и потом сама поняла, и закрыла ларёк на двадцать минут раньше. Главврач поликлиники ГЭС ни с кем не говорила, но в семь вечера её видели на Камне: она стояла у доски на валуне и держала на светлом месте ладонь, долго, как держат руку на лбу у больного.

К ночи знали все. Сам не утонул. Точнее, утонул, но не умер. Точнее, умер — два года назад, а до этого где-то был. Где был, не знал никто. Это было хуже.

Спать всё равно было нельзя: тридцать один градус в полночь. Нагорный лежал на балконах под мокрыми простынями и не спал, и в темноте с балкона на балкон, через пустые дворы, перелетали негромкие голоса, как перелетают мотыльки: «Два года...» — «А где?...» — «А кто ж его...» — «Тише ты».

Часовня на Камне светилась всю ночь. Там читали Псалтырь — в два голоса, старый и молодой, по очереди, — и те, кто лежал на балконах Нагорного, видели сквозь дым, на обрыве над дамбой, одно маленькое жёлтое окно. Оно не гасло. На него смотрели, как смотрят ночью на единственное освещённое окно в доме напротив: не думая, что там, но успокаиваясь от того, что оно есть.

Пятеро не спали тоже. Каждый в своём доме. Ни один из пятерых не позвонил другому.

00:40. Сухов

Мониторы в кабинете было пять. Их поставили в две тысячи пятом, когда по району повесили камеры, — сорок две камеры, Сухов помнил число, потому что сам подписывал смету, и сам выбирал, где висеть каждой. Плотина. Площадь у ДК. Автостанция. Лодочная станция. Стоянка у часовни на Камне. Сейчас на всех пяти экранах было одно и то же: серое, зернистое, неподвижное. Дым. Изредка в сером проплывал фонарь.

Жена спала. Дочери спали. Сухов сидел в трусах и майке перед мониторами, на кожаном кресле, которое прилипало к спине, и слушал диктофон.

Диктофон был с ним на каждой встрече — маленький, серебристый, в нагрудном кармане. Никто не знал. То есть все знали и делали вид, что не знают, и это Сухова устраивало: так люди говорили осторожнее, а осторожные слова он умел слушать лучше, чем неосторожные.

Сегодня было одиннадцать записей. Он слушал четвёртую. Совещание у начальника ОВД, пятнадцать двадцать.

«...по заключению эксперта, давность наступления смерти — полтора-два года. То есть вторая половина восьмого...»

Стоп. Назад.

«...вторая половина восьмого...»

Стоп. Назад.

«...полтора-два года. То есть вторая половина восьмого. Причина — естественная. Криминала, Виктор Павлович, по факту смерти нет».

Он остановил запись и сидел, крутя обручальное кольцо. Кольцо ходило по пальцу туго, с усилием, оставляя на коже красный след. Он крутил его, пока палец не заныл.

Криминала нет.

Он взял мобильный. Нашёл в телефонной книге «Аркадий». Не «отец Арсений», не «Луний» — «Аркадий», как было записано ещё в девяносто седьмом, когда телефоны только появились. Большой палец повис над зелёной кнопкой. Остальных четверых в книге тоже можно было найти — все были, по фамилиям, между «Сбербанком» и «Сантехником». Их он не искал.

Не позвонил. Положил телефон экраном вниз.

Потом взял диктофон, нажал на запись, поднёс к губам и сказал, очень тихо, чтобы не разбудить дочерей:

— Тридцатое июля. Ноль часов сорок четыре минуты. Я, Сухов Виктор Павлович, семьдесят второго года рождения...

Он замолчал. Красная лампочка горела. Диктофон ждал, как ждут на исповеди. На мониторе у часовни, в зернистом сером, открылась дверь, и из неё вышел кто-то в чёрном, постоял на крыльце, повернувшись к воде, и ушёл обратно.

Сухов нажал «стоп». Потом «удалить». Диктофон спросил: «Удалить файл?» Он нажал «да».

Он встал, прошёл по коридору босиком и приоткрыл дверь в комнату дочерей. Младшая спала, раскинувшись, сбросив простыню на пол. Старшая, Катя, шестнадцать, спала в наушниках, и из них тоненько, как комар, пищала музыка. У её кровати стояли кроссовки. Белые — он сам покупал, в Ярославле, в мае. Сейчас они были серые до самых шнурков. Серые, в засохших разводах, в мелких трещинах, как старая краска на подоконнике.

Такой ил был только в одном месте.

К санаторию он запретил им ходить три года назад. Про тракт он ничего не запрещал, потому что три года назад тракта не было.

Он стоял в дверях и крутил кольцо. Дочь во сне повернулась на бок, наушник выпал, и музыка стала громче — что-то быстрое, на английском, на одной ноте.

— Вить, — сказала из спальни жена. — Ложись.

— Я решаю вопрос, — сказал Сухов.

01:30. Грачёв

Дружиннику было двадцать лет. Он провалился в торфяную яму на левом берегу, за санаторием, по бёдра, и его вытаскивали баграми, а он кричал, и когда его привезли, он всё ещё кричал, только уже без голоса, одним ртом.

— Ножницы, — сказал Грачёв. — Пинцет. Физраствор. Ещё.

Он говорил ровно, негромко, как всегда за столом. Люда, операционная сестра, работала с ним пятнадцать лет и знала, что за столом Павел Сергеевич не заикается никогда. Она подавала не глядя.

Ноги у мальчика были чёрные до колен. Кроссовки вплавились в стопы, и Грачёв снимал их кусками, вместе с тем, что под ними было. Подошвы не было. Была красная влажная поверхность с чёрными вкраплениями торфа, вбитыми в мясо, как гравий в асфальт. Он вычищал их по одному, пинцетом, и опускал в лоток, и лоток звякал.

— Павел Сергеевич, может, перерыв? — сказала Люда в третьем часу работы.

— Нет.

Он не думал о ступнях, которые видел днём на другом столе, в подвале. Он думал о торфе. Торф был лёгкий, рыхлый, чёрный, и в глубине раны каждая крошка продолжала тлеть, если её не вынуть. Надо было вынуть все. Он вынимал.

— Будет ходить? — спросила Люда.

— Будет.

В коридоре, у дверей оперблока, на стуле сидела мать мальчика — в халате поверх ночной рубашки, в тапках на босу ногу, и пахло от неё дымом, как от всех. Когда Грачёв вышел, она

встала и схватила его руку, ещё в перчатке, и поцеловала — в резину, в тыльную сторону, мокрыми губами. Он отнял руку, не резко, как отнимают у ребёнка спички.

— Б-будет, — сказал он, прежде чем она спросила. — Х-ходить будет.

Коридор был не операционная. Здесь он заикался.

Потом он долго мыл руки. Потом лёг на кушетку в ординаторской, не раздеваясь, в зелёной робе, и лежал с открытыми глазами. За окном был дым, подсвеченный фонарём во дворе, жёлтый, как вата, пропитанная йодом.

Телефон лежал на груди. Грачёв поднял его и пролистал книгу. «Ершов Толя». «Мельник». «Рябов О.». «Сухов В.». Они все были там, все четверо, по алфавиту, как в классном журнале. Он пролистал мимо.

Между «Ершовым» и «Мельником», на «М», было ещё одно: «Мама». Год назад он не удалил этот номер и теперь уже не удалит. Он посмотрел на него.

Потом положил телефон экраном вниз, на грудь, и сказал вслух, в потолок, в темноту, одно слово — просто чтобы проверить. Своё имя.

— П...

Губы сомкнулись и не разомкнулись. Воздух упёрся в них изнутри, как в закрытую дверь.

— П-п...

Он лежал и слушал, как в коридоре капает из крана, и больше не пробовал.

02:12. Мельник

Бахтёр в ДК спал в стеклянной будке, открыв рот, и транзистор у него на коленях шипел ночным шипением. Мельник прошёл мимо на цыпочках. Ключи от музея у него были свои, на отдельном кольце, с картонной биркой, на которой он сам когда-то написал: «Музей. Оsn. + запасн. 1999».

В фойе мозаика «Рабочий с молнией» стояла в темноте, и только кулак с зигзагом ловил свет уличного фонаря сквозь пыльное окно. Мельник поднялся на второй этаж, отпер музей, не включая верхний свет. Включил фонарик.

Он знал здесь всё. Каждый экспонат, каждую витрину, каждый номер в инвентарной книге — семь томов описи, все номера его рукой. Он провёл лучом по стенам. Карта затопления, 1955 год, синим — будущее море, одиннадцать сёл под синим. Фотография звонницы Спас-Затонья, двадцатые годы, с верёвкой от колокола, свисающей вниз, в темноту проёма. Каска строителя. Групповой снимок: «Трудовой отряд санатория «Ясные Зори», июль 1988 г.» — двадцать шесть подростков в пилотках и один взрослый в центре, худой, в белой рубашке. Мельник не стал задерживать на нём луч. Пятерых мальчишек у правого края он тоже не стал разглядывать. Наш класс, как он говорил о них всегда. Как известно.

Стенд «Строители моря». В центре — портрет в чёрной рамке. Под портретом, на булавах, картонная табличка, отпечатанная на машинке в девяносто восьмом:

«Л. Шадрин (1930–1988). Директор Ясноводской ГЭС в 1962–1988 гг. Почётный гражданин Ясноводска. Трагически погиб 19 августа 1988 г.»

Мельник вынул булавы. Одну, вторую, третью, четвёртую. Снял табличку и подержал её в руке. Картон был сухой и тёплый.

Потом он достал из кармана рубашки ручку и чистую карточку — у него всегда были с собой чистые карточки — и написал: «(1930–». Остановился.

Что следует писать дальше, было непонятно. Как известно, методика датировки требует документального подтверждения. Документального подтверждения не было. Было заключение эксперта, устное, в пересказе, в очереди у колонки. Была дата, которая была. И была дата, которой не было, но которую все знали двадцать два года.

Он порвал карточку пополам, потом ещё раз, и положил обрывки в карман.

Старую табличку он вернул на место. Вколол булавки — одну, вторую, третью, четвёртую — в те же дырочки. Отошёл на шаг, посветил. Табличка висела чуть криво. Он поправил. Теперь ровно.

Потом снял её ещё раз — только для того, чтобы на обороте, мелко, карандашом, записать: «Снята 30.07.2010, 02:19. Возвращена 02:26. Без изменений. А. М.» — и повесил снова.

На обратном пути, в фойе, он оглянулся на мозаику. Рабочий держал молнию в кулаке и смотрел туда же, куда смотрели все в этом городе, — на плотину, поверх голов.

Мельник поймал себя на том, что думает о нём в прошедшем времени — о Рабочем, о мозаике, о себе самом, стоящем в фойе: «Он стоял в фойе. Было тихо». Так он думал всегда. Так было проще. Прошедшее время не требует ничего.

Дома он открыл тетрадь, в которой вёл записи с восьмьдесят восьмого года, — не дневник, а именно записи, по датам, в одну строку. Двадцать две тетради стояли на полке по порядку, корешками наружу, и на каждом был год. Он написал: «30.07.2010. Ночь. Жара 31°. Был в музее. Экспозиция без изменений». Посмотрел на строчку. Всё было правдой.

Он лёг и не заснул.

03:00. Рябов

Будильник он не ставил двадцать два года. Просыпался сам, в три, минута в минуту, и лежал, пока не становилось ясно, что больше не уснёт. Потом брал телефон.

— Дежурный по станции Ковалёв.

— Рябов. Отметка?

— Девяносто восемь сорок два, Олег Николаевич.

— Приток?

— Около нуля. Сброс минимальный, по графику. Всё держим.

— Держите, — сказал Рябов и положил трубку.

Он записал цифру в тетрадь. Тетрадь лежала на тумбочке, общая, в клеёночной обложке, и была уже девятая по счёту. Столбик цифр шёл вниз по странице: 98,51. 98,50. 98,49. 98,48... Каждую ночь минус сантиметр. Вода уходила ровно, как по графику, и график этот был не его, и ничей.

Светлана спала, отвернувшись к стене. Даниил ночевал в часовне — отец Арсений благословил читать по нему Псалтырь до отпевания. Рябов встал и пошёл на кухню попить.

На кухне горел свет. Мать сидела за столом, в ночной рубашке, прямая, как на фотографии, и перед ней стояли две тарелки. Одна пустая. На другой лежал хлеб — ломоть, аккуратно, посередине. На кухонном полотенце, висевшем на ручке духовки, был завязан узел — маленький, тугой, странный. Мать вязала их теперь на всём.

— Мама. Три часа ночи.

— Я знаю, сколько. — Мать не повернулась. — Олежек, Лёва-то приходил.

Рябов налил воды из кувшина. Вода пахла тиной, как вся вода в городе. Он выпил.

— Мама, иди спать.

— Приходил, — сказала мать. — Я ж тебе говорила. В позапрошлом годе, на Спас. Босой. Я ему хлебушка вынесла, а он не взял. Смотрит и молчит. Он теперь всё молчит.

Два года назад, в августе, она сказала это в первый раз. Точно так же, на кухне, ночью: «Лёва пришёл». Рябов тогда вызвал Крылову из поликлиники, та выписала другие таблетки, посильнее, и мать перестала говорить про Лёву. Перестала — и вот.

Два года назад. В августе.

Рябов стоял у раковины с пустой кружкой. В груди что-то встало, как встаёт затвор, когда сверху давит больше, чем он рассчитан держать: не больно — тяжело, ровно, со всех сторон сразу. Он знал этот режим. Двадцать два года он работал в этом режиме.

— Мама, — сказал он. — Мы же его...

Он не договорил. Мать повернула голову и посмотрела на него — ясно, как смотрела раньше, до всего, — и в этом взгляде не было ни болезни, ни вопроса.

— Хлебушко-то я ему положила, — сказала она. — Вон. Остынет.

Рябов вернулся в спальню, лёг на спину и лежал до пяти. В ванной, в темноте, он побрился — на ощупь, без света и без зеркала, как брился всегда: зеркало в ванной висело, но он двадцать лет не поднимал на него глаз, пока держал бритву. Лицо он знал руками. Этого было достаточно. В пять он снова позвонил дежурному.

— Девяносто восемь сорок два, Олег Николаевич. Как было.

04:30. Ершов

Сом взял на перемёт у самой бровки, где раньше было два метра, а теперь по колено. Ершов почувствовал его ещё с лодки: шнур пошёл в сторону, тяжело, упрямо, как идёт упрямая корова, которую тянут со двора.

— Ну, иди. Иди, иди, маленький. Иди к дяде Толе.

Он вывел его к борту и перевалил через край, в лодку, прямо на мокрые доски. Сом был небольшой — метр, не больше, сомёнок. Чёрный, скользкий, с белым брюхом, с усами, которые шевелились сами по себе, как пальцы. Он лежал на досках и открывал рот — широкий, беззубый, с шершавыми тёрками внутри — и хватал воздух, которого было мало даже для людей.

На берегу, у сараев лодочной станции, стоял мужик. Городской — в рубашке с длинным рукавом, в брюках, в ботинках, в пять утра, в дым. Он стоял и смотрел, и Ершов знал, кто это: весь город со вчера знал, кто это. Следовательно из области. Мужик держал в руке что-то синее, маленькое, и время от времени подносил ко рту.

— Вы чего не спите? — крикнул ему Ершов.

— Жарко.

— А. Ну да.

Ершов подгрёб к берегу, одним веслом, и лодка ткнулась в ил. Мужик подошёл. Лодки станции лежали вокруг на сухом дне, брошенные, вверх килем, как дохлые рыбы. Вода ушла от них на сорок метров.

Ершов вынул крючок из губы сомёнка — осторожно, двумя пальцами, будто вынимал занозу у ребёнка. Сомёнок дёрнулся и обдал его брызгами. Ершов засмеялся. Потом взял его под брюхо обеими руками, перегнул через борт и опустил в воду. Подержал. Отпустил.

Сомёнок постоял у борта, чёрный в коричневом, пошевелил усами — и ушёл. Вода над ним свернулась воронкой и разгладилась.

Ершов перекрестился. Размашисто, по-стариковски, хотя ему было тридцать восемь.

— Зачем отпустили? — спросил мужик.

— Сомов у нас не едят.

— Почему?

— Не едят, и всё. — Ершов достал из-под банки бутылку, отпил и протянул. Мужик покачал головой. — Ну и правильно. Я тоже не пью. Это так, от жары.

Он сидел в лодке, свесив руки между колен, и смотрел туда, где в дыму должна была стоять колокольня. Руки у него тряслись — мелко, постоянно, как тряслись у его отца последний год.

— Вы, говорят, про Бат... — Он осёкся. Мотнул головой. — Про Самого приехали.

— Про него.

— Два года, говорят. Два года как помер. — Ершов засмеялся, коротко, неуместно, как смеются от щекотки, и сразу перестал. — Два года. А мы... а все думали — двадцать два.

Мужик помолчал. Он стоял на иле в своих городских ботинках, и ботинки медленно уходили в ил. Он этого не замечал.

— Вы сказали — Бат... — сказал мужик.

— Сом, — быстро сказал Ершов. — Батя. Большой, в яме у колокольни живёт. Два с половиной метра, говорят. Утопленников ест. — Он отпил. — Сомы — они падаль любят. Им чем тухлее, тем слаще.

— Вы его видели?

— Отец видел. — Ершов посмотрел на свои трясущиеся руки. — Отец одного поймал. Не Батю — поменьше. Продал. В санаторий, на кухню. — Он помолчал. — Потом помер.

— Кто помер? Сом?

Ершов засмеялся опять — тем же смехом, от щекотки.

— И сом. Всех съели.

Мужик промолчал. Ершов отвернулся к воде и долго смотрел в дым, и губы у него шевелились, как будто он что-то считал.

— А вы колокол слышите? — вдруг спросил он.

— Какой колокол?

— С воды. Ночью. — Ершов показал бутылкой в дым. — Там. Бом. И тишина. И опять — бом. Колокола-то нет. С тридцатого года нет, сняли, на переплавку, бабка говорила. А я слышу.

— Давно?

— Давно. — Ершов открыл рот, чтобы сказать с какого, и закрыл. — Давно, — повторил он. — Раньше — раз за ночь. Бом — и всё, до утра. А сейчас, как вода пошла, — чаще. Сегодня раз пять било. Как по покойнику.

Он посмотрел на мужика снизу вверх, из лодки.

— А вы, значит, не слышите?

— Нет.

— Ну и хорошо, — сказал Ершов. — Значит, вам не за что.

— За что — не за что?

— А это вы у Бати спросите, — сказал Ершов и подмигнул, но подмигивание вышло кривым, одним веком, как у человека, которому в глаз попала мошка.

Он оттолкнулся веслом от ила, развернул лодку и погрёб от берега — в дым, туда, где колокольня. Грёб он неровно, одним веслом сильнее, и лодку водило. Через двадцать гребков берега уже не было видно — только серое, и в сером, еле-еле, тёмный силуэт мужика на иле. Мужик стоял, чуть наклонив голову набок, как собака, которая слушает, не идёт ли хозяин. Слушал.

«Не слышит, — подумал Ершов. — Счастливый».

И тут справа от лодки, у самого борта, вода вспухла.

Медленно, без плеска, горбом — как вспухает одеяло над тем, кто под ним поворачивается во сне. Горб был длинный, длиннее лодки. Он прошёл вдоль борта, от кормы к носу, не торопясь, и лодку качнуло, плавно, как люльку. Потом вода опала, и на её месте осталась только гладкая полоса, и по ней поплыли пузыри.

Ершов сидел, подняв вёсла, и с лопастей капало.

— Батя, — сказал он шёпотом. — Бать. Ты чего.

И тогда, в пять утра, в дым, в первый раз не ночью, а при свете — если это можно было назвать светом, — ударил колокол.

Глава 6. Вторые похороны

4–5 августа 2010 года

1

Тело не отдавали шесть дней. Гистология, токсикология, образцы в область, образцы из области обратно, подпись, которую надо было ждать, потому что человек, который её ставил, был в отпуске в Турции. За шесть дней из тридцати четырёх интернатов, куда Кравец разослала запросы, ответили девять. Девять раз — «не значится». Остальные молчали, как молчит всё в августе.

За эти шесть дней вода ушла ещё на шесть сантиметров. Радио всё так же говорило «девяносто восемь и четыре».

В ночь перед похоронами Архипов не спал — не потому, что думал о чём-то, а потому, что в номере было тридцать два, и вентилятор так и не закрутился, и простыня, которую он мочил под краном, высыхала за двадцать минут. В начале второго он оделся и поехал на Камень. Зачем, он себе не объяснял. Ему хотелось посмотреть на окно, которое, говорили, не гаснет.

Окно не гасло. Дверь часовни была приоткрыта, подперта кирпичом, чтобы шёл воздух.

Гроб стоял посередине, на двух табуретах, закрытый. На крышке лежала фотография из киота — та самая, мужчина с трибуны, — и перед ней горела свеча в банке с песком. В изголовье, на табуретке поменьше, стоял гранёный стакан с водой, накрытый ломтём чёрного хлеба. Хлеб подсох по краям и загнулся, как лист.

У аналоя, спиной к двери, стоял Даниил и читал.

Читал он ровно. Не громко и не тихо, без выражения, на одной высоте, как течёт вода по жёлобу, — церковнославянские слова шли одно за другим, не цепляясь, и в них не было ни паузы, ни вздоха, ни того напряжения голоса, которое бывает у людей, когда они читают над мёртвым. Он читал так, как будто мёртвых не было. Или как будто они были всегда.

Архипов встал у стены. Даниил не обернулся. Он дочитал до конца кафизмы, перекрестился, поклонился, коснувшись пальцами пола, и только тогда сказал, всё так же глядя в книгу:

— Надлежит не прерывать. Можете стоять.

— Вы один?

— Отец Арсений читал до полуночи. Теперь отдыхает. Я — до утра.

— Вы всегда читаете над покойниками?

— Над всеми, кого у нас отпевают. С четырнадцати лет. — Даниил перевернул страницу.

— Отец Арсений говорит, у меня голос ровный. Покойникам нужно ровно. Они пугаются, когда живые волнуются.

Он начал следующую кафизму. Архипов постоял ещё минут десять. Воск тёк по свече и застывал на песке каплями, похожими на мелких белых насекомых. Хлеб на стакане чуть заметно шевелился — от сквозняка из двери. Мальчик читал. Голос не дрогнул ни разу.

Уходя, Архипов подумал, что за всю свою службу ни разу не видел человека, которому было бы так спокойно рядом с гробом.

2

Хоронил весь город.

Отпевали на улице, на площадке у валуна, потому что в часовню помещалось тридцать человек, а пришло — Архипов попробовал прикинуть и бросил — тысячи две. Они стояли на гравии, на склоне, на дамбе, вдоль ограждения, на обочинах дороги. Старухи в платках. Мужики с ГЭС в синих куртках с эмблемой, несмотря на жару. Женщины с зонтиками от солнца, которого не было, — был жёлтый дым, и солнце в нём висело медным пятакom. Дети на

плечах у отцов. Многие в марлевых повязках, и от этого толпа казалась собранием одинаковых людей без ртов.

Было тридцать восемь градусов. Архипов стоял сзади, у берёзы с рукомойником, и чувствовал, как пот стекает у него по позвоночнику вниз, под ремень, одной холодной струйкой.

Кравец стояла рядом. В форме, без повязки. Она не крестилась.

Гроб вынесли из часовни. Нести полагалось шестерым: шесть ручек, по три с каждой стороны. Архипов посмотрел на тех, кто нёс, и узнал троих. Грачёв — хирург из подвала, белый, в чёрном костюме, с каплями на лысине. Рыбак с лодочной станции, Ершов — побритый, в пиджаке с чужого плеча, с трясущимися руками, которые на ручке гроба трястись перестали. Мужчина в белой рубашке и с обручальным кольцом, которое он время от времени крутил свободной рукой, — глава района, Сухов, это Архипову уже показывали. Четвёртого, высокого, с тяжёлым лицом и опущенными глазами, он не знал. Пятый — сутулый, в очках, в сером пиджаке с кожаными заплатами на локтях — поправлял очки плечом, не отпуская ручки.

Нёсших было пятеро. Шестая ручка, задняя левая, была пустая. Угол гроба проседал, и тот, кто шёл перед пустым углом, — сутулый в очках — нёс, неудобно вывернув руку назад, чтобы гроб не накренился.

— Кто они? — спросил Архипов.

— Рябов, главный инженер, — сказала Кравец, не поворачивая головы. — Высокий. Староста часовни. Мельник — в очках. Историк, музей в ДК. Остальных вы знаете.

— Почему пятеро?

— Отец Арсений благословил.

— Почему — им?

— Спросите у него.

Гроб поставили на табуреты у валуна, у самой доски, и Архипов увидел, что светлое место на бронзе, где было стёртое имя, пришлось как раз над изголовьем.

3

Лунин служил сам. За плечом у него, чуть позади, стоял кто-то из прислуживающих, в чёрном, с кадилом. Дым из кадила, сладкий, смолистый, смешивался с торфяным дымом, и в горле у Архипова возник знакомый шкаф — пока ещё не поперёк, пока ещё боком.

Отпевание шло долго. Люди стояли. Одна старуха в первых рядах опустила на гравий, мягко, как опускается мешок, и её подняли, отпоили водой из бутылки и поставили обратно. Потом Лунин закрыл книгу и повернулся к людям.

Проповедь была короткая. Архипов потом помнил её почти дословно, хотя ничего не записывал, — так запоминаются вещи, произнесённые тихо, когда все наклоняются вперёд, чтобы расслышать.

— Двадцать два года мы его хоронили, — сказал Лунин. — Каждый Спас. Каждый год. Мы плавали к колокольне, опускали хлеб в воду и думали, что он там. А теперь нам говорят: он был не там. Он был жив. Он умер позже. И я видел, братья и сёстры, я видел ваши лица в эту неделю. Вы вздохнули. Будто камень с души сняли. Будто сказали вам: не вы.

Он помолчал. Где-то на дамбе заплакал ребёнок, и мать зашикала на него.

— А я вам скажу. Неважно, умер ли он тогда. Сказано: всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Сказано: всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. Кто хоть раз, хоть на миг, хоть во сне пожелал ближнему смерти — тот убил. Не рукой. Сердцем. — Он поднял руку и положил ладонь себе на грудь, на чёрную ткань. — Вы убили его в сердце. Каждый из нас. И я.

Архипов смотрел не на Лунина. Он смотрел на пятерых, которые стояли теперь у гроба, по обе его стороны, как почётный караул, в который их никто не назначал.

Сухов крутил кольцо. Грачёв шевелил губами, будто повторял про себя одно и то же слово и не мог его начать. Мельник смотрел поверх голов, на плотину, туда же, куда смотрела

мозаика в ДК. Рябов стоял, опустив голову так низко, что видна была только макушка, седая в тридцать восемь лет. Ершов улыбался. Нехорошо, криво, одной половиной рта, и смотрел не на Лунина и не на гроб, а на воду, в дым, и голову держал чуть набок, как держат, когда прислушиваются.

— Вода уходит, — сказал Лунин. — Земля горит. Господь показывает нам дно наше. Что было под водой — выходит на свет. Не бойтесь этого. Бойтесь думать, что вы чисты.

На словах «и я» он смотрел в конец толпы — туда, где стоял у берёзы Архипов. Или Архипову так показалось. В этом городе многое так казалось.

Архипов повернулся к Кравец. Кравец смотрела на часы.

— Долго ещё? — спросила она шёпотом, ни к кому.

Кто стоял за спиной Лунина с кадилом, пока тот говорил, — как держал кадило, куда смотрел, — Архипов потом, когда понадобилось, вспомнить не смог. Кто-то стоял. Кадило не качнулось ни разу.

Хоронили на Нагорном, на старом кладбище, у самого обрыва, откуда в ясную погоду было видно всё водохранилище. Сегодня видно не было ничего. Могилу вырыли с утра, в сухой рыжей глине, и глина по краям уже растрескалась на жару, как корка на хлебе. Двое могильщиков в майках сидели в тени соседней ограды и курили, пока шли последние слова.

Гроб опускали на полотенцах. Пятеро держали четыре полотенца, и одно полотенце держали двое — Рябов и Мельник, с двух концов, как держат простыню, которую складывают. Гроб пошёл вниз неровно, одним углом вперёд, стукнулся о стенку, и сверху посыпалась глина.

Потом бросали землю. Земли не было. Была пыль — сухая, рыжая, лёгкая, — она не падала, а сыпалась сквозь пальцы и тут же поднималась обратно облачком, и оседала на ботинки, на брюки, на подола. Горсти не стучали по крышке, как стучат всегда. Они шуршали.

Ершов бросил свою горсть и отряхнул ладони о пиджак, быстро, будто обжёгся. Сухов бросил и перекрестился — правильно, справа налево, чётко, как подписывают документ. Мельник бросил, посмотрел на часы и что-то отметил про себя. Рябов долго стоял над ямой с полной горстью, и пыль уходила у него между пальцами, пока в ладони ничего не осталось, и он так и опустил пустую руку.

Грачёв не бросил. Он стоял у края, держа руку сжатой в кулак у бедра, и Архипов видел, как костяшки у него побелели, но кулак так и не разжался над ямой. Потом Грачёв отошёл, и никто этого, кажется, не заметил, потому что все смотрели, как могильщики берутся за лопаты.

4

Поминки были в ДК, в фойе, под мозаикой. Столы составили буквой «П» и накрыли белыми бумажными скатертями, которые к середине поминок прилипли к рукам. Кутья в эмалированных мисках. Блины стопками. Кисель в трёхлитровых банках. Водка. Хлеб — горы хлеба, нарезанного толстыми ломтями, с хлебозавода, ещё тёплого, и от его запаха, смешанного с водкой, кутьей и потом двухсот человек, у Архипова закружилась голова.

Во главе стола стоял пустой стул. Перед ним — тарелка с кутьей, стопка водки, накрытая ломтём хлеба, и ложка, положенная выпуклой стороной вверх. Никто на этот стул не смотрел. Все обходили его, как обходят лужу.

— Для кого стул? — спросил Архипов у Кравец. Они сидели рядом, у торца, и перед Кравец стояла тарелка, в которой ничего не было.

— Для него.

— Он в земле.

— Ну и что, — сказала Кравец. — Стул-то вот он. — Она подвинула к нему миску. — Кутью не ешьте. Изюм кислый, жара. Блины можно.

— Вы не едите.

— Я на поминках не ем. — Она пожала плечами. — С детства. Мать не велела. Говорила: на поминках кормят мёртвого, а живые — так, рядом сидят.

— И вы верите?

— Нет, — сказала Кравец. — Просто не ем.

Сухов говорил первым. Встал, постучал вилкой по стакану.

— Сегодня мы провожаем... — Он крутанул кольцо. — Мы провожаем человека, благодаря которому этот город... в котором... благодаря которому мы все...

Он не назвал имени. Он говорил две минуты — про плотину, про санаторий, про жильё, про то, что «вопросы, которые остаются, будут решены», — и ни разу не назвал имени, и никто этого не заметил, кроме Архипова, который это слышал, как слышат, что в оркестре не играет одна скрипка.

Архипов вышел из-за стола и поднялся по лестнице на второй этаж.

Дверь в музей была открыта. Внутри было пусто, прохладно — музей был единственным местом в ДК, где работал кондиционер: старый, «Бакинец», гудевший, как холодильник, — и пахло пылью, нафталином и старой бумагой. Архипов прошёл вдоль стен. Карта затопления, синим — одиннадцать сёл. Каска. Грамоты. Макет плотины под стеклом, с крошечными машинками на гребне. Групповой снимок: трудовой отряд, 1988, двадцать шесть подростков в пилотках и худой молодой человек в белой рубашке в центре. Архипов посмотрел на него и узнал — не лицо даже, а то, как он стоял: чуть в стороне от собственного центра.

Потом он увидел звонницу.

Фотография была небольшая, коричневая, под стеклом, в деревянной рамке. Колокольня Спас-Затонья, снятая снизу, от паперти. Живая: с крышей, с крестом, с деревом у стены, которого теперь не было. Наверху, в проёме звона, висел колокол — тёмный, большой, с толстыми краями. От его языка вниз, через весь ярус, свешивалась верёвка — длинная, светлая, чуть провисшая — и уходила в темноту проёма, туда, где должен был стоять звонарь. Звонаря видно не было. Только верёвка и рука — чья-то кисть, на самом краю кадра, белая от засветки, держащая конец.

Внизу, на картонке: «Колокольня ц. Спаса Преображения в с. Спас-Затонье. 1920-е гг. Колокол снят в 1930 г.».

Архипов смотрел на верёвку. Там, где она крепилась к языку, был узел. Разглядеть его было нельзя — слишком мелко, слишком старый снимок. Просто утолщение. Он наклонился ближе к стеклу, и в стекле отразилось его собственное лицо, поверх колокола.

— Как известно, — сказали за спиной, — колокол весил около девяноста пудов. Отлит в Ярославле в тысяча восемьсот девяносто шестом. Звон был слышен, по воспоминаниям, за двенадцать вёрст.

Мельник стоял в дверях, в сером пиджаке с заплатами, со стаканом киселя в руке.

— Был слышен, — повторил Архипов.

— Был. — Мельник подошёл и встал рядом, на полшага дальше, чем встают люди, которые хотят разговаривать. — Снят в тридцатом, в рамках кампании. Отправлен на переплавку. Дальнейшая судьба неизвестна.

— А звонарь?

— Звонарь на снимке не установлен. — Мельник поправил очки. — На обороте ничего. Я смотрел.

— А это вы? — Архипов показал на снимок отряда.

Мельник посмотрел на снимок так, как смотрят на экспонат, который сам вешал.

— Это я был, — сказал он. — Второй справа.

— А рядом?

— Наш класс. — Он помолчал. — Мы все были в отряде в то лето. Как известно, трудовые отряды при санатории были обязательны для учащихся, не выехавших на отдых.

Архипов сосчитал мальчишек у правого края. Пятеро. Худые, в пилотках, шурящиеся на солнце, которого тогда было сколько угодно.

— Табличку под портретом внизу, на стенде, будете менять? — спросил он. — Там же теперь другая дата.

— Методически неверно менять без документа, — сказал Мельник. — Документа нет. Есть устное заключение. — Он отпил киселя. — Табличка висела двенадцать лет. Её никто не читал.

Внизу, в фойе, кто-то засмеялся.

5

Смех был громкий, пьяный, взхлёб, и он поднимался по лестнице, как вода поднимается по трубе, и когда Архипов и Мельник спустились, в фойе уже было тихо — вокруг смеха.

Ершов стоял у стола, с рюмкой в руке, покачиваясь. Пиджак с чужого плеча был расстёгнут, рубашка вылезла из брюк, лицо было красное и мокрое. Он смеялся и не мог остановиться, и смотрел через стол на Рябова, который сидел напротив, не поднимая головы от тарелки.

— Олежка! — сказал Ершов. — Олежка, ты слышал? Два года! Два!

Рябов не поднял головы.

— Не убивали мы его, Олежка! — Ершов хлопнул ладонью по столу, и кисель в банке качнулся. — Не убивали! Живой он был! Живой, понял? Двадцать лет живой! А мы...

Он засмеялся снова, закинув голову, и рюмка в его руке наклонилась, и водка пролилась на бумажную скатерть, на хлеб.

Тишина в фойе была такая, что стало слышно, как гудит вентилятор под потолком и как на улице, далеко, лает собака. Двести человек сидели и не смотрели на Ершова. Смотрели в тарелки, в стол, на пустой стул во главе стола. Никто ничего не спросил. Никто не спросил: кто — «мы»?

Грачёв встал, опрокинув стул, и остался стоять.

Сухов поднялся не торопясь. Обошёл стол, взял Ершова под локоть — не грубо, привычно, как берут под локоть пьяного на свадьбе, — и сказал вполголоса:

— Толя. Пойдём, подышим.

— Витя! — Ершов обернулся к нему и засмеялся ему в лицо. — Витька, ты-то хоть...

— Пойдём, — сказал Сухов, и Архипов увидел, как побелели у него пальцы на локте Ершова.

Они пошли к выходу. Ершов шёл и смеялся, всё тише, тише, как затихает заведённая игрушка, и у самых дверей обернулся и крикнул в фойе, в тишину, в мозаику:

— Не убивали!

Дверь закрылась.

Архипов вышел следом. Не сразу — через минуту, как выходят покурить.

За ДК, у служебного входа, где стояли мусорные баки и пахло кислыми объедками и хлоркой, Сухов держал Ершова у стены. Не бил — держал, прижав ладонью в грудь, как держат дверь, которая сама открывается, и говорил ему что-то сквозь зубы, быстро, в самое ухо. Архипов расслышал обрывки: «...ты понимаешь, где... при ком... Аркадий сказал...» — и дальше не расслышал, потому что Ершов увидел его через плечо Сухова и засмеялся снова.

— Вон! — сказал он, показывая пальцем. — Вон он! Он не слышит, Витя. Представляешь? Не слышит! Счастливый человек!

Сухов обернулся. Лицо у него было уже другое — гладкое, служебное, как у человека, открывающего совещание.

— Перебрал, — сказал он Архипову. — Жара. Сами понимаете. Я его отвезу.

— Не надо меня возить, — сказал Ершов. — Я сам. Я на лодке.

Он отлепился от стены, одёрнул пиджак с чужого плеча и пошёл — мимо баков, мимо Архипова, вниз по улице, к воде, чуть загребая ногами, как идут по палубе в качку. У угла он остановился и крикнул, не оборачиваясь:

— Бате привет!

Сухов стоял и крутил кольцо. Потом, не взглянув на Архипова, вернулся в ДК.

Когда Архипов снова вошёл в фойе, тишина ещё стояла — густая, липкая, как бумажная скатерть. Лунин сидел во главе стола, по правую руку от пустого стула. Он не повернул головы. Он взял ломоть хлеба, того, облитого водкой, разломил его пополам и положил половину на тарелку старухе, сидевшей рядом, а вторую — себе. И стал есть. Медленно, отламывая маленькие кусочки пальцами.

Разговоры вернулись не сразу. Сначала звякнула вилка. Потом кто-то попросил передать блины. Потом стало как было.

Архипов посмотрел на Кравец. Она сидела на своём месте, у торца, перед пустой тарелкой, и смотрела на дверь, за которой скрылся Ершов, — не мигая, так, как смотрят на кастрюлю, которая вот-вот убежит.

6

Ночью Архипов стоял на балконе своего номера на пятом этаже и смотрел на воду.

Воды отсюда видно не было. Была плотина, цепочка фонарей на парапете, а дальше, за ней, — чёрное, в котором дым и вода были одним и тем же. Где-то там стояла колокольня. Он открыл блокнот, прижал его к перилам и при свете уличного фонаря написал: «Ершов — завтра, с утра. «Мы». Колокол». Подчеркнул.

Потом поднял голову и прислушался — сам не зная к чему. Внизу, во дворе, тарахтел холодильник в круглосуточном ларьке. На Нагорном кто-то кашлял на балконе — долго, надсадно, как кашляют в дыму. С плотины доносилось ровное гудение, которое было всегда и которое переставали слышать на второй день. Больше ничего. Никакого колокола. Ершов сказал бы: счастливый.

Он поднял глаза выше.

Там, где по его расчёту была колокольня, в чёрном, низко, над самой водой, горел огонёк. Жёлтый, тёплый, дрожащий. Он не двигался. Он стоял на одном месте, как стоит лампа на подоконнике, когда кто-то сидит у окна и ждёт.

Архипов смотрел на него долго. Потом вспомнил, как сказал Лунин: в такую жару многим не спится.

Огонёк не уплыл. Он погас.

Глава 7. Торф

6 августа 2010 года

1

Нина проснулась в пять двадцать, за десять минут до будильника, как всегда. Будильник она всё равно не отключала: пусть звонит, раз заведён.

Серёга уже не спал. Он лежал на спине, огромный, в трусах, поверх простыни, и смотрел в потолок, по которому ползла трещина, похожая на реку на карте. От него пахло машинным маслом — не сильно, привычно, как пахнет от дома, в котором живёшь. Масло въелось ему в кожу у ногтей двадцать лет назад и не отмывалось ничем.

— Опять горит, — сказал он. — Слышишь?

Она слышала. Не звук — запах. Он пришёл ночью, пока спали, и лёг в дом, как собака ложится у двери. Горелая земля, прелая хвоя, что-то сладковатое, как подгоревшее варенье. Торф. Посёлок Торфяной стоял на левом берегу, на краю бывших разработок, и когда торф горел, он горел у них под огородами.

Дом был старый, бревенчатый, обшитый вагонкой, с верандой, с гаражом, в котором Серёга чинил полпосёлка. Нина встала, сунула ноги в тапки, пошла на кухню и включила чайник. Потом телевизор — без звука. По телевизору показывали Москву: Красную площадь в сером, людей в масках, мэрию. Потом лес. Потом опять лес. Потом кто-то в пиджаке у карты с красными пятнами.

Из банки на холодильнике она взяла сушку, сжала в кулаке, сушка хрустнула. Съела кусок. Остальное положила в карман халата — на потом.

Средний, Мишка, одиннадцать, пришёл на кухню в шесть, босиком, с отпечатком подушки на щеке.

— Мам, пацаны сегодня на дно идут. К колокольне.

— Нет.

— Там все ходят.

— Там ил. Засосёт — не вытащим.

— Там дорога. Каменная.

— Дорога кончается, ил начинается, — сказала Нина. — Нет.

Мишка посмотрел на неё тем взглядом, которым смотрят на закрытый магазин, и налил себе чаю. Нина подумала, что Люба Пахомова тоже, наверное, говорила «нет». И что у Любы теперь в сейфе у Нины стоит один кроссовок.

Серёга вышел следом, в трениках, сел напротив и стал намазывать масло на хлеб — толсто, как мажут, когда впереди день в яме под чужой машиной.

— Мужики вчера в гараже говорили, — сказал он, не поднимая глаз от хлеба. — Только Ершов на поминках орал. «Не убивали», говорят, орал.

— Слышала.

— Ты ж с ними училась.

— Училась.

— Ну?

— Ну и всё, — сказала Нина.

Серёга кивнул и откусил хлеб. Он был с Торфяного, не из Соцгорода, и за семнадцать лет так и не научился говорить «Сам» — говорил «ваш директор», как говорят про чужого начальника. Спрашивать дальше он тоже не стал. Не потому, что боялся. Просто знал: когда Нина говорит «ну и всё» — это не дверь, а стена, и стучать в неё — только руку отбивать.

Даша, пятнадцать, спала в наушниках. Тёмка, шесть, спал поперёк кровати, закинув ногу на стену. Нина постояла над ним, поправила простыню, которую он всё равно скинет, и пошла одеваться.

2

В шесть сорок она вышла на крыльцо — в форме, с сумкой, с яблоком в руке — и увидела, что Тёмка уже не спит.

Он стоял у калитки, в одних трусах и сандалиях, и смотрел на соседскую Жульку. Жулька — рыжая, лохматая, дурная, помесь всего со всем — носилась по пустырю за огородами, за соседской кошкой. Пустырь тянулся до самого бора, ровный, бурый, заросший сухим пыреем. Над ним стоял дым — не столбом, а низко, слоем, по колено, будто пустырь дышал.

Кошка ушла в пырей. Жулька рванула за ней, наискосок, к старой дренажной канаве.

И провалилась.

Не упала — провалилась. Земля под ней не треснула, не просела, а просто перестала быть. Только что собака бежала по бурой корке, а через секунду корки не было, была дыра, и из дыры рванул дым — густой, белый, как из печной трубы, когда открывают заслонку. И звук. Нина потом не могла вспомнить, был ли звук сначала, или визг был уже потом. Визг был — высокий, человеческий почти, и оборвался не сразу. Тянулся. Пока тянулся, запахло палёной шерстью.

Тёмка побежал.

Нина не помнила, как спрыгнула с крыльца. Помнила сандалии Тёмки, мелькающие в пырее, — синие, с липучками, она сама их покупала в «Детском мире» в мае. Помнила, как пырей хлестал её по голым икрам. Помнила жар — не в лицо, а снизу, через подошвы: земля под ногами за пять метров до дыры была горячая, как крышка кастрюли.

Она схватила его за резинку трусов. Потом за руку. Потом за всё сразу, подмышки, и рванула на себя, назад, и они упали оба на спину, в пырей.

Там, где Тёмка стоял секунду назад, корка треснула — лениво, с сухим хрустом, как ломается печенье, — и отвалилась в дыру куском, размером с табуретку. Из трещины пошёл дым.

Жулька больше не визжала.

Нина лежала на спине, в форменной рубашке, в сухой траве, и держала Тёмку поперёк живота обеими руками, и он брыкался и кричал: «Жулька! Жулька!» — а она не отпускала. Над ними было жёлтое небо. В нём медленно летела ворона. Нина считала взмахи: раз, два, три. Потом ворона ушла в дым.

— Всё, — сказала Нина. — Так. Всё.

Руки у неё не тряслись. Она это проверила: подняла одну, посмотрела. Не тряслась. Потом встала, подняла Тёмку, взяла его на руки — тяжёлого, шестилетнего, мокрого, пахнувшего сном и дымом, — и пошла к дому. Не оглядываясь.

На крыльце стоял Серёга с кружкой. Кружка у него была на весу, чай не допит.

— Жульку, — сказала Нина. — Там. В канаве. Позвони Коле, пусть пожарных. И забор пусть поставят. Прямо сегодня.

Она поставила Тёмку на ступеньку. Тёмка плакал без звука, как плачут, когда уже поняли. Нина присела перед ним на корточки и вытерла ему лицо ладонью.

— Туда нельзя, — сказала она. — Сверху твёрдое. А внизу горит. Понял?

Он кивнул.

— Как это — внизу горит? — спросил он.

— Так, — сказала Нина. — Бывает.

Она встала и посмотрела на яблоко у себя в руке. Оказывается, она так и держала его всё это время — через пырей, через падение, — и оно было смято с одного бока, как будто его сжимали. Она откусила. Яблоко было кислое.

У калитки, в дыму, остановилась серая машина. Из неё вышел Архипов.

3

— Ершов живёт у лодочной станции, — сказал Архипов, когда они отъехали. — Вы сказали, с утра можно.

— Можно.

Он вёл медленно, по плотине, потом по дамбе, с фарами, хотя было утро. Дым лежал на воде ровным слоем, и плотина шла сквозь него, как мост через облако. Кондиционер у Архипова не работал. Окна были закрыты. В машине пахло нагретым пластиком и его ингалятором — кислото, аптечно.

— У вас трава в волосах, — сказал он.

Нина провела рукой по голове. Сухая травинка. Она выбросила её в щель над стеклом.

— Собака провалилась. Соседская. В торф.

Он посмотрел на неё. Она смотрела вперёд.

— Там сын был, — сказала она. — Младший. Не провалился.

— Вы в порядке?

— Я в форме, — сказала Нина. Потом, помолчав: — Рубашку жалко. Новая.

Архипов не ответил. Проехали середину плотины. Внизу, справа, за парашетом, лежал Соцгород — крыши, трубы, ДК, — и казалось, что он лежит на дне, а они едут по поверхности.

— Вчера, — сказал Архипов. — На поминках. Ершов сказал «мы».

— Пьяный был.

— Пьяные редко выдумывают местоимения.

Нина достала из кармана сушку, остаток утренней, и сломала её в кулаке ещё раз.

— Вы их знаете, — сказал он. Не спросил.

— С первого класса. Всех пятерых. Один класс, «Б». Грачёв на первой парте, потому что заикался и учительница его жалела. Сухов на последней. Мельник всё записывал. Только Ершов списывал у Мельника. Рябов молчал. — Она пожала плечами. — Обычный класс.

— А в восемьдесят восьмом?

— В восемьдесят восьмом мне было шестнадцать.

— Вы это уже говорили.

— Значит, так и было.

Он молчал. Машина стучала колёсами по стыкам плит — тук-тук, пауза, тук-тук.

— Лето было жаркое, — сказала Нина, глядя в стекло. — Как это. Грозы сухие. Отряд в санатории — вся школа там болталась, кто не уехал. Андрюха Мельник за мной тогда ходил. — Она помолчала. — С цветами. С полевыми. Где-то рвал на откосе.

— И?

— И ничего. Ладно. Дальше.

Она сказала это тем же голосом, каким говорила подчинённым на планёрке, и Архипов, кажется, понял, что дальше не будет. Он переключил передачу. На съезде с плотины, у светлого пролёта ограждения, Нина отвернулась к своему окну — туда, где был Соцгород, — и смотрела на него, пока пролёт не остался позади.

4

Лодочная станция была пустая.

Сараи стояли в ряд над обрывом, запертые, с облезлыми номерами на дверях. Лодки лежали внизу, на сухом дне, вверх килем, как дохлые рыбы. Вода ушла от них уже на пятьдесят метров. У самой кромки, там, где начиналась вода, бурая и неподвижная, торчал из ила кол с привязанной верёвкой. Верёвка уходила в воду и была пустая.

Сторож станции, Филиппыч, сидел на табуретке у своей будки, в ватнике на голое тело — в ватнике, в тридцать градусов, — и курил «Приму» без фильтра.

— Толя? — сказал он. — Толя вчера ушёл. Ночью. Поздно, одиннадцатый час. Пьяный был в сосиску. С поминок. Сел в лодку и ушёл.

— Куда?

— К Бате, сказал. Поминать. — Филиппыч выпустил дым в дым. — Он всегда так. Нажрётся и к колокольне. Ночует там в лодке. Утром приходит.

— Сейчас восемь, — сказала Нина.

— Ну. Не пришёл пока.

— Батю поминать? — переспросил Архипов.

— Ну, — сказал Филиппыч и посмотрел на него, как на приезжего. — Батю, Самого. Кого хочешь. У нас что сом, что директор — одно слово. — Он сплюнул табак с губы. — Отец его тут же, на станции, лодочником был. При ГЭС. Сом поймал однажды, продал на кухню в санаторий. Его за это и попёрли. Браконьерство. А сом того, говорят, на банкете сам Сам и съел. — Филиппыч помолчал. — Отец через год спился. Только с тех пор сомов отпускает. Всех. Даже мелочь.

Нина слушала, глядя на кол. Эту историю она знала. Её знали все. Её никто никогда не рассказывал вслух — рассказывали вот так, приезжим, между затяжками.

— Велосипед его?

Велосипед стоял у сарая номер девять — старый «Урал», с изолентой на руле. Нина потрогала сиденье. Сиденье было холодное — насколько что-то могло быть холодным в этот август.

Архипов стоял у края обрыва и смотрел в дым, туда, где должна была быть колокольня. Видно было метров на восемьдесят. Дальше — ничего.

— Есть лодка? — спросил он.

— Мотор сдох, — сказал Филиппыч. — Бензина нет. Вёсла есть.

Он кивнул на лодку, лежавшую ближе других к воде, — голубую, облупленную, с номером на борту. Архипов посмотрел на неё. Потом на Нину.

— Сплаваем?

— Я не сяду, — сказала Нина.

— Почему?

— Я сухопутная.

Она сказала это спокойно, как говорят «я не курю». Архипов дождался объяснения. Объяснения не было. Нина стояла, заложив руки за спину, и смотрела не на воду, а на кол с пустой верёвкой.

— Вы на воде работаете, — сказал он. — Город на воде.

— Двадцать два года не садилась, — сказала Нина. — И не купаюсь. Могу позвонить в МЧС, у них катер.

— Звоните.

Она позвонила. У МЧС катер был на пожаре, на левом берегу, возил воду. Будет к десяти. Или к одиннадцати. Нина сказала: «Ладно», положила трубку и снова посмотрела на кол.

5

Чёрный «Лэнд Крузер» спустился к станции по грунтовке, не сбавляя хода, и встал поперёк, прямо у будки. Филиппыч поднялся с табуретки. Две старухи, которые с раннего утра сидели на лавке у верхних сараев — неизвестно зачем, как сидят старухи на всех лавках, — одновременно повернули головы.

Машина была большая, квадратная, чёрная, с тонированными стёклами, и дым на её капоте лежал серой пудрой, как на всех машинах в городе, но на этой почему-то казался чужим. Из-за руля вышел мужчина. Лет сорока пяти, загорелый не здешним загаром — ровным, морским. Белая рубашка навывпуск, светлые брюки, тёмные очки, хотя солнца не было. На запястье

— часы, тяжёлые, стальные. Следом из машины вылез молодой парень с треногой и оранжевым ящиком — геодезист.

— Доброе утро, — сказал мужчина. Он смотрел на Архипова, на Нину, на форму, на удостоверение, которое Архипов не доставал. — Вагин. Игорь Вагин. «Волга-Девелопмент». Вы, я так понимаю, по старику.

— По старику, — сказал Архипов.

— Ужасная история. — Вагин снял очки, протёр их краем рубашки. Глаза у него были светлые и спокойные, как у человека, которому нечего бояться в этом городе, потому что он может его купить. — Я, собственно, по делу. Станция теперь моя. С июля. Санаторий, мыс, береговая полоса до дамбы. Мне надо промерить дно, пока его видно. Такого шанса больше не будет — через месяц вода придёт.

— Что вы тут строите? — спросила Нина.

— Марину. Яхт-клуб. Пирсы, эллинг, гостиница. — Он повёл рукой вдоль берега — от станции до обрыва, до Камня, — и рука остановилась, не дойдя до часовни, но показывая на неё. — Вон там будет въезд. Там самое удобное место — высокий берег, дорога, вид.

— Там часовня, — сказала Нина.

— Часовню перенесём. — Вагин улыбнулся. — Я уже говорил с епархией. Епархия не против. Новую поставим, каменную, лучше этой. Бог — он и на новом месте Бог.

Одна из старух на лавке плюнула. Не в сторону Вагина — просто на землю, себе под ноги, и перекрестилась. Вторая сказала громко, ни к кому:

— Опять чёрная приехала.

Когда Вагин отошёл к геодезисту, та же старуха поманила Нину пальцем и сказала, понизив голос, но так, что слышно было и Архипову:

— Нинка. Это ж опять она. Как тогда.

— Тётъ Валь, — сказала Нина. — Это «Тойота». Японская. Две тысячи восьмого года.

— Японская, — сказала старуха и поджала губы. — Ну-ну. Та тоже, может, была японская.

Вагин тем временем вернулся, отряхивая руки, и продолжил, будто и не отходил. Он не повернулся к лавке. Он смотрел на Нину.

— Вы местная, — сказал он. — Может, объясните мне. Я второй месяц тут. Мне город продаёт землю, мне глава района жмёт руку, мне в администрации наливают коньяк — а на улице мне вслед плюют. Из-за часовни, в которой висит фотография директора ГЭС. Не икона — фотография. — Он развёл руками. — Вы тут кому молитесь?

Нина откусила яблоко.

— Каждый своему, — сказала она.

Он перевёл взгляд на Архипова.

— Вы ведь тоже не местный. Вы же видите. Люди живут под плотиной, которую построил один человек, и двадцать лет ставят ему свечки. А тот, кто хочет дать им работу, — чёрт на чёрной машине. — Он усмехнулся. — Мне нравится ваша область. Но у неё какая-то... странная иерархия ценностей.

Архипов ничего не ответил. Он смотрел на Вагина — на ровный загар, на спокойные руки, на то, как тот стоял на этом берегу, будто берег уже был его, — и поймал себя на том, что ему приятно слушать человека, который говорит «иерархия ценностей» и не извиняется за это. Это было неприятно замечать.

Геодезист установил треногу на краю обрыва и что-то крикнул Вагину. Вагин кивнул и пошёл к нему. На ходу обернулся:

— Кстати. Если вам нужен катер — у меня стоит на мысу. Могу дать. С бензином.

— Не нужно, — сказала Нина.

Белая «Камри» подъехала через десять минут. Сухов вышел из неё, как выходят из машины люди, которые много выходят из машин на глазах у других: застегнул пиджак, одёрнул манжеты, посмотрел по сторонам. Увидел «Лэнд Крузер». Лицо у него не изменилось, только правая рука нашла на левой кольцо.

С Вагиным он поздоровался издали, кивком, и тот кивнул в ответ так же — коротко, как кивают соседям по лестничной клетке, которых встречают слишком часто. Потом Сухов подошёл к Архипову и взял его под локоть — тем же движением, каким вчера брал Ершова.

— Отойдём.

Отошли к сараям. Сухов крутил кольцо.

— Я не вмешиваюсь, — сказал он тихо. — Это ваша компетенция. Но я как глава обязан информировать. — Он смотрел не на Архипова, а через его плечо, на чёрную машину. — Проверьте москвича.

— В связи с чем?

— В связи с тем, что он тут с весны. Что ему часовня мешает. Что ему весь город мешает. — Кольцо сделало полный оборот. — И что он по ночам на плотине катается. Без фар. У меня камеры, я вижу.

Архипов вспомнил цепочку фонарей на парапете, гаснущих по очереди. Двадцать три сорок. Часы, которые спешат.

— Когда катается?

— Регулярно. — Сухов отпустил его локоть. — Я вам записи дам. Если нужно. По линии администрации.

— А зачем ему кататься по плотине без фар?

Сухов посмотрел на него. Потом на воду.

— Это вы у него спросите, — сказал он. — Это ваша компетенция.

6

Сухов уехал. Вагин с геодезистом ушли вдоль обрыва, к мысу, и их голоса — «сорок два!», «пиши!» — ещё какое-то время доносились из дыма, всё тише. Старухи сидели на лавке. Филиппыч курил.

Нина стояла у кромки воды — не у самой, в двух шагах, там, где ил был ещё сухой, — и смотрела на кол с верёвкой.

Последний раз она заходила в воду в начале августа восемьдесят восьмого. Здесь же, у станции, с девочками, после отряда. Вода была тёплая, как чай, и зелёная, и в ней стояли мальки, не боялись ног. Андрюха Мельник сидел на берегу, на перевернутой лодке, с охапкой ромашек, которые уже завяли, и смотрел не на неё, а на колокольню. Потом он сказал ей что-то — она помнила, что сказал, помнила каждое слово, — и она вышла из воды и больше в неё не входила.

Что именно он сказал, она не вспоминала. Это было не забыто. Это было убрано — как убирают зимние вещи на антресоли: знаешь, где лежат, и не лезешь.

— Он всегда тут швартуется? — спросила она.

— Всегда, — сказал Филиппыч. — Двадцать лет на одном месте.

Архипов подошёл к ней. Вода перед ними была бурая, гладкая, без единой морщины, и дым над ней лежал так низко, что казалось — можно наклониться и потрогать. Где-то далеко, над тем местом, где была колокольня, кричали чайки. Много чаек. Крик был не рассыпчатый, как обычно, а собранный в одну точку, как кричат чайки, когда внизу под ними что-то есть.

Нина слушала их, наклонив голову.

Из дыма медленно, без плеска, выплыло весло.

Оно шло к берегу само, лопастью вперёд, чуть поворачиваясь, как стрелка компаса, которая ищет север. Деревянное, тёмное от воды. На рукояти — красная изолента, намотанная толсто, в несколько слоёв, как мотают, когда натирает ладонь.

Весло ткнулось в ил у самых Нининых ботинок и остановилось.

Нина не наклонилась. Она стояла и смотрела на изоленту.

— Толино, — сказал за спиной Филиппыч. Сигарета у него погасла. — Он всегда красной мотал. Руки у него потели.

Архипов шагнул вперёд, в ил, и поднял весло. Оно было лёгкое. С лопасти текла вода, и в воде, мелко, крошкой, плавало что-то белое — размокшее, мягкое, как мякиш.

Чайки над колокольной кричали, не переставая.

Нина достала телефон и набрала МЧС ещё раз. Катер был всё там же, на левом берегу, возил воду к торфяникам. «К десяти, — сказали ей. — Может, к одиннадцати. Что у вас там, срочное?» Нина посмотрела на весло в руках Архипова, на белую крошку, которая стекала с лопасти вместе с водой.

— Пока не знаю, — сказала она. — Пока — весло.

Она убрала телефон в карман, к недоеденной сушке, и снова посмотрела на воду, туда, где кричали чайки.

— Одно, — сказала она. — Вёсел два. Где второе?

Глава 8. Сомовник

Июль — август 1988 года

1

Бассейн в санатории «Ясные Зори» спускали каждый июль, и каждый июль его отдраивал трудовой отряд. В восемьдесят восьмом отдраивал Толя Ершов.

Он стоял на дне, в резиновых сапогах на три размера больше, и тёр щёткой кафель, и кафель был скользкий, зелёный, в слизи, которая пахла так, как пахнет лягушка, если взять её в руки. Солнце било прямо в чашу бассейна, и чаша держала его, как сковородка, и пот тёк у Толи по спине в штаны. Наверху, по бортику, ходили девчонки из отряда с вёдрами и визжали, когда кто-нибудь брызгал на них из шланга.

На дне бассейна была мозаика. Толя знал её наизусть, потому что драил её третий день. «Дары Волги». Лещи, судаки, щуки, раки, какая-то утка с колосом в клюве — всё это по кругу, синим и золотым, — а в середине, самый большой, во всю ширину дна, сом. Чёрный, с белым брюхом, с усами, которые загибались вверх, как у старика на картинке в учебнике истории. Глаз у сома был из жёлтого стекла и смотрел на Толю, где бы Толя ни стоял.

Толя тёр сому усы и думал об отце.

Отец поймал сома в восемьдесят шестом, в августе, у самой колокольни, где яма. Не такого, как на мозаике, — поменьше, метра на полтора, но всё равно. Отец работал лодочником при ГЭС и знал, что сомов не берут, но у Тольки тогда не было зимней куртки, а в санатории на кухне давали за хорошую рыбу хорошие деньги. Отец отвёз сома на кухню ночью, в мешке. Сом запекли. Сом подали на банкет — тридцатилетие ГЭС было через год, а это был какой-то другой банкет, с москвичами. Сом съел Сам.

Через неделю отца вызвали в заводоуправление, в актовый зал, при всех, и Сам сказал в микрофон, что браконьерам на ГЭС не место. Сказал весело, с шуткой, и в зале смеялись. Отца уволили в тот же день. Отец пил год. В июле восемьдесят седьмого его нашли у лодочной станции, в собственной лодке, лицом вниз, в двух ладонях дождевой воды на дне.

Куртку Тольке так и не купили.

Толя тёр сому усы, и щётка скребла по кафелю, и жёлтый стеклянный глаз смотрел. Толя плюнул сому в глаз и растёр плевков щёткой. Потом огляделся — не видел ли кто. Никто не видел. Девчонки визжали на бортике.

— Ершов, — сказали сверху. — Иди-ка сюда на минутку.

На бортике стоял Аркадий Викторович.

2

Аркадию Викторовичу было двадцать два года, и он был командиром отряда, и секретарём комсомола ГЭС, и все называли его по имени-отчеству, хотя он просил звать просто Аркадием. Он был худой, в белой рубашке с закатанными рукавами, в очках, которые он носил в тот год, а потом перестал. Он никогда не кричал. Он вообще говорил так тихо, что к нему приходилось наклоняться, и все наклонялись.

Он отвёл Толю за лодочный сарай санатория, туда, где лежали перевёрнутые лодки и пахло смолой и тиной, и сел на лодку. Толя остался стоять. Аркадий Викторович достал из кармана бумажный свёрток, развернул. Там был бутерброд с колбасой — с настоящей, копчёной, которой в городе не было даже у Самого в буфете.

— Ешь.

— Я не хочу.

— Ешь, Толя. — Он не приказывал, он просил. — Ты худой. Мне за тебя отвечать.

Толя взял. Колбаса была жирная, солёная, и он съел бутерброд в четыре укуса, стоя, и облизал пальцы. Аркадий Викторович смотрел, как он ест. Смотрел внимательно, как смотрят на что-то хорошее.

— Ты сегодня сому в глаз плюнул, — сказал он.

Толя перестал облизывать пальцы.

— Я никому не скажу, — сказал Аркадий Викторович. — Я понимаю. — Он помолчал. — Твой отец хороший был. Лодки мне в детстве давал. Бесплатно.

— Он браконьер был.

— Кто сказал?

— Все.

— А ты как думаешь?

Толя не знал, как он думает. Он думал, что куртки нет. Что отец лежал в лодке лицом вниз в двух ладонях воды. Что сом был вкусный — все, кто был на банкете, говорили потом, что сом был вкусный.

— Он рыбу съел, — сказал Аркадий Викторович очень тихо, будто сам себе. — Съел, облинулся и сказал в микрофон, что твоему отцу не место. А тот, кто рыбу поймал, — умер. А тот, кто съел, — живёт. Хорошо живёт, Толя. Колбасу вот такую ест. Каждый день.

Он замолчал. Мимо сарая прошла девчонка с ведром, и он проводил её взглядом.

— Ты его ненавидишь? — спросил он.

— Нет, — сказал Толя.

— Нет? — Аркадий Викторович снял очки и протёр их краем рубашки. Без очков глаза у него были светлые и какие-то голые. — А должен бы.

Он встал, отряхнул брюки и положил Толе руку на плечо — легко, как кладут руку на стол.

— Это не за себя, Толя. Не за отца даже. За всех. Понимаешь? Он не одного твоего отца съел. Он всех ест. Кого-то быстро, кого-то медленно. Кто-то должен сказать: хватит. — Он чуть сжал плечо. — Иди. Тебя там щётка ждёт.

Толя пошёл. На полпути обернулся. Аркадий Викторович всё ещё стоял у сарая и смотрел ему вслед, и лицо у него было такое, будто он только что покормил собаку и теперь смотрит, как она ест.

Потом Толя узнал — не сразу, через неделю, — что Аркадий Викторович отводил за сарай не только его. Витьку Сухова. Пашку Грачёва. Андрюху Мельника. Олега Рябова. По одному. Каждому — бутерброд. О чём он с ними говорил, они друг другу не рассказывали. Толя тоже не рассказывал. Было как-то понятно, что не надо.

Но видно было. После сарая каждый ходил день-два не такой. Витька Сухов перестал задирать девчонок и стал смотреть на пятый корпус — просто стоял с кистью и смотрел, пока краска не капала ему на кеды. Пашка Грачёв весь день не сказал ни слова, чтобы не заикаться, и только к вечеру, на линейке, выговорил своё «з-здесь» так тихо, что вожатая переспросила. Андрюха Мельник завёл тетрадку и что-то в неё записывал, и закрывал ладонью, когда кто-нибудь подходил. Олег Рябов не изменился никак — он и так всегда молчал, — только однажды Толя увидел, как Олег стоит у главного корпуса и смотрит на портрет Самого на доске почёта, долго, не мигая, как смотрят в зеркало, когда бреются.

3

По ночам Толя ходил на перемёт.

Мать спала, отца не было, лодка отцовская стояла у станции, и никто не мог Толе запретить. Он ставил перемёт у бровки, за санаторием, где было глубоко и тихо, и сидел в лодке до рассвета, курил отцовскую «Приму», которая осталась в ящике, и слушал воду.

Вода ночью звучала по-другому. Шуршала у борта. Плескалась у берега. Иногда, со стороны колокольни, по ней шёл тяжёлый вздох — как будто кто-то очень большой переворачи-

вался во сне. Отец говорил, что это Батя. Толя в Батю не верил. Но когда слышал вздох, переставал курить.

В одну из таких ночей, в конце июля, он увидел «Волгу».

Она шла по дороге к санаторию без фар. Чёрная, длинная, блестящая, как мокрая, — даже без фар она блестела, отражая то немногое, что было вокруг: звёзды, огни дамбы, воду. Она прошла мимо главного корпуса, не сбавляя хода, и остановилась у пятого, директорского, в котором была сауна и где свет не горел никогда, кроме как по ночам.

Задняя дверь открылась. Из «Волги» вышла девушка. В светлом платье. Она постояла у машины, будто не зная, куда идти, — Толя видел, как белое платье не двигается в темноте, — потом пошла к корпусу, медленно, и вошла.

Водитель из «Волги» не вышел. Толя знал, что за рулём никто не сидит, кроме Самого. Сам ездил без водителя по ночам, это знали все.

Потом из машины вышел и он — большой, в светлой рубашке, — и пошёл за девушкой, не торопясь, как хозяин идёт по своему двору.

Толя сидел в лодке, и сигарета у него догорела до пальцев. Он узнал платье. Такое платье было у Ленки Суховой, Витькиной сестры, которая работала официанткой в санаторской столовой и которую все пацаны в отряде провожали глазами, когда она несла подносы.

Утром Витька Сухов пришёл в отряд белый, будто не спал, и весь день молчал, и красил забор так, что забрызгал себе всё лицо, и не вытирал.

Толя ему ничего не сказал.

4

Сом он поймал вечером восемнадцатого августа, накануне Спаса.

Не на перемёт — на донку, на лягушку, у самой колокольни, у ямы. Отец говорил, что туда не ставят. Толя поставил. Он сам не знал, зачем. Может, потому, что старики говорили: сом, пойманный на Спас, — не грех. Раз в десять лет Батя сам даёт одного, и тогда его пекут в сомовник и едят у колокольни, мужики, одни, и это не грех, а поминки. А может, потому, что Аркадий Викторович сказал однажды за сараем, как бы между прочим: «Если на Спас сом придёт — это знак, Толя. Старики так говорят».

Сом пришёл.

Толя тащил его полчаса. Леска резала ладони. Лодку разворачивало. Потом из тёмной воды, у самого борта, поднялась голова — широкая, плоская, с усами толщиной в палец, — и открыла рот. Рот был такой, что туда вошла бы Толина голова. Внутри были не зубы, а тёрка, серая, шершавая, как наждачка.

Сом был метр семьдесят. Толя потом мерил. Он лежал на дне лодки, чёрный, скользкий, и бил хвостом, и от каждого удара лодка вздрагивала, и Толя сидел на корме, поджав ноги, и смотрел, как сом открывает и закрывает рот. Воздух. Воздух. Воздух.

— Прости, — сказал ему Толя. Сам не зная почему.

На станции, когда он подгрёб, его встретил Филиппыч — тогда ещё не Филиппыч, а просто дядя Гриша, сторож, сорок с чем-то, с золотым зубом. Он посмотрел в лодку и долго ничего не говорил. Потом снял кепку.

— Спасов, — сказал он. — Надо же. Десять лет не давал. — Он посмотрел на Толю. — Отец твой такого хотел. Не дождался. Взял не того и не тогда.

— А этот — тот?

— Этот — тот, — сказал дядя Гриша и надел кепку. — Этот, парень, сам пришёл. Ты его теперь не продавай. Этого едят. Там, у колокольни. Сами. Как положено.

Пекла тётя Нюра — Олегова мать, которая работала на хлебозаводе в ночную. Олег привёл Толю к ней в цех в восемь вечера, через проходную, где вахтёрша знала Олега с пелёнок. В цеху было как в аду, если бы в аду пахло хлебом: печи гудели, противни лязгали, женщины в

белых косынках катили тележки с формами, и с потолка на них сыпалась мучная пыль, золотая в свете ламп.

Тётя Нюра посмотрела на сома в мешке долго. Потом перекрестилась — Толя никогда не видел, чтобы на хлебозаводе крестились, — и сказала:

— Спасов. — И потом, тише, не Толе и не Олегу: — Тятя такого в пятьдесят шестом пёк. Последнего.

Она разделала его сама, быстро, большим ножом, как разделявают, когда умеют с детства. Она сделала тесто — не из цеховой опары, а своё, в отдельной миске, — и завернула в него сома целиком, с головой, и защищала края, и сверху сделала крест из теста, и под крестом — волнистую полоску, как вода. Потом поставила противень в печь, в самый дальний угол, куда ставили то, что не для счёта.

— Хлебушко-то положи, — сказала она Олегу, когда вынимала. — Как доедите — последний кусок в воду. А то не отпустит.

— Кого? — спросил Олег.

Тётя Нюра не ответила. Она завернула сомовник в полотенце — большое, льняное, с вышивкой по краю — и завязала концы полотенца узлом. Толя видел, как она вязала: быстро, двумя руками, петлю через петлю, и затянула, и узел получился маленький, тугой, странный, какого Толя не знал, хотя знал все узлы, которым учил отец.

— Не развязывай, — сказала она Олегу. — Там развяжешь.

5

Аркадий Викторович ждал их у станции с двумя лодками. В одной лежали две бутылки портвейна «Три семёрки» и пачка сигарет «Космос».

— Отметьте, — сказал он. — Спас. Вы уже мужики.

Сам он не поплыл.

— Мне отряд считать, — сказал он. — Двадцать шесть душ. Мало ли что. Спас. Лодки. — Он посмотрел на них по очереди, на каждого, как пересчитывал. — Вы там аккуратнее.

Гребли на двух лодках: в одной Толя с Витькой и Олег на носу, с сомовником на колёнях, в полотенце; в другой — Пашка с Андрюхой. Колокольня выросла из темноты вдруг, как вырастает дом, если идти ночью по полю: только что было пусто — и вот стена. Нижние пролёты лестницы были под водой. Лезли через окно второго яруса, по одному, с лодки, придерживая друг друга за ремни.

Наверху, в проёме звона, где когда-то висел колокол, было сухо, тепло и пахло голубиным помётом. Отсюда был виден весь город: огни Соцгорода внизу, за плотиной, огни Нагорного на обрыве, фонари на дамбе цепочкой. Небо было без звёзд — тучи. Тучи были тяжёлые, низкие, и в них, без звука, вспыхивало. Далеко. Потом ближе. Сухая гроза. Дождя не будет. Дождя не было всё лето.

У лодочной станции, на том берегу, мигнули и погасли фары. Длинная машина — отсюда как спичечный коробок — стояла у сараев и больше не двигалась. Толя посмотрел на неё и отвернулся. Мало ли кто ездит ночью на Спас.

Олег развязал полотенце. Узел долго не поддавался, и Олег стал тянуть, и узел не развязывался, а затягивался, и тогда Олег сделал что-то двумя пальцами, быстро, будто вспомнил, — и полотенце раскрылось.

Сомовник был ещё тёплый. Корка — золотая, блестящая, с крестом и волнистой полоской наверху. Витька разломал его руками. Внутри было белое мясо, жирное, слоистое, в прозрачном соке, и кости, и голова с усами, запечёнными в тесто, и запах пошёл такой, что Толя сглотнул слюну раньше, чем подумал.

Они ели руками, сидя на полу звонницы, по кругу, и передавали портвейн. Сом был сладкий. Толя не ожидал, что сом будет сладкий. Жир тёк по подбородку, по пальцам, по запястьям, и Толя облизывал запястья, и кости застревали в зубах, и он выковыривал их ногтем.

Портвейн был тёплый и приторный, как микстура. После второго круга стало смешно. После третьего — не смешно, а тихо, и тяжело, и хорошо.

Пашка сказал, заикаясь:

— Р-раз в д-десять лет.

— Не грех, — сказал Андрюха. — Этнографически задокументировано.

— Какой ты умный, Мельник.

— Не грех, — повторил Витька. Он смотрел на огни внизу, на пятый корпус санатория, который отсюда было видно — маленький, тёмный, с одним жёлтым окном. — Не грех.

Олег не ел. Он сидел у стены, держа последний кусок корки в руке, и смотрел на него.

Молния вспыхнула совсем близко, над водой, и всё стало белым: стены звонницы, лица, руки в жиру, пустая бутылка. Потом — темнота. Потом — гром, долгий, как если бы по небу катили бочку.

И снизу, из темноты, у подножия колокольни, стукнуло о камень дерево. Лодка.

Кто-то лез по лестнице. Тяжело. С одышкой. Ругаясь — негромко, по-хозяйски, как ругаются на своих.

Толя потом двадцать два года думал, как Сам туда попал. Кто его привёз. На чём. И каждый раз решал одно и то же: приплыл. Сам. На Спас. Хлеб бросить. Он всегда на Спас хлеб бросал, говорили. Приплыл, услышал голоса наверху, полез. Сам.

Голова показалась в проёме лестницы. Большая, седая, в свете следующей вспышки — белая. Потом плечи. Пиджак в тонкую полоску, тёмный — в белом свете молнии почти серый, — с широкими лацканами, и на лацкане что-то блеснуло. Он вылез на площадку, выпрямился — он был огромный, он занимал ползвонницы — и посмотрел на них. На бутылки. На кости сома. На полотенце.

— Ну, сынки, — сказал он. Весело. — Слезайте. Мать вашу за ногу.

6

Дальше Толя помнил вспышками. Буквально — вспышками. Между ними была темнота и гром, и в темноте ничего не было, как на плёнке, где нет кадров.

Вспышка. Витька стоит перед Самим. Витька ему по плечо. Витька что-то говорит, быстро, и лицо у Витьки такое, какого Толя у него никогда не видел.

Темнота. Гром.

Вспышка. Сам смеётся. Голова запрокинута. Рука — большая, с часами на браслете — лежит у Витьки на затылке. Треплет. Как собаку.

Темнота.

Вспышка. Все вместе. Толя не видит, кто где. Видит руки. Много рук. Своих — тоже. Его руки держат что-то. Ткань. Полоска под пальцами — тонкая, рубчиком. Что-то острое впивается в ладонь, в самую середину. Больно. Он не отпускает.

Темнота. Гром — такой, что задрожали стены.

Вспышка. Сам стоит у края проёма. Там, где когда-то было ограждение, а теперь — ничего, воздух, двенадцать метров до воды. Он стоит спиной к воздуху. Лицом к ним. Рот открыт. Что-то говорит. Толя не слышит — гром.

Темнота.

Вспышка.

Проём пустой.

Толя стоял у стены. Руки у него были пустые. Ладонь болела. Он не помнил, как отпустил.

Сам остушился. Толя это понял сразу, в ту же секунду, как увидел пустой проём, и понимал потом всегда, двадцать два года, каждый день. Сам остушился. Сам. Там ступеньки мокрые у края, скользкие, там голуби гадят, там камень от воды отсырел. Он шагнул назад — от Витьки, от смеха, от чего-то — и поскользнулся. Никто его не толкал. Никто. Ступеньки были мокрые. Точно мокрые.

Дождя не было всё лето.

Кто-то подошёл к проёму. Толя тоже подошёл. Встал на колени, на край, и посмотрел вниз.

Молния вспыхнула над самой водой — длинная, ветвистая, как корень, — и на секунду вода внизу стала белой, плоской, неподвижной. Никаких кругов. Ничего. Как будто никто не падал.

И у подножия колокольни, в двух метрах от стены, стояла лодка.

Не их лодка — их лодки были привязаны с другой стороны. Эта стояла отдельно. Без огня. Без фонаря, без сигареты, без ничего. В лодке кто-то сидел. Не грёб. Вёсла лежали вдоль бортов. Сидел и смотрел вверх. На них.

Лица Толя не разглядел. Только то, что лицо было обращено вверх — светлое пятно в тёмном.

Темнота.

Вспышка.

Лодки не было. Вода. Белая, плоская, пустая.

«Чёрт, — подумал Толя. Он подумал это спокойно, как думают очевидное. — Это чёрт за ним приплыл. Сидел и ждал. Забрал».

Он отполз от края. Сел у стены, рядом с Олегом. Олег всё так же держал в руке последний кусок корки от сомовника. Он смотрел на него, и губы у него шевелились.

— Хлебушко-то, — сказал Олег. — Надо в воду. А то не отпустит.

Он встал, подошёл к проёму и бросил корку вниз, в темноту. Никто не услышал, как она упала.

Пашка сидел на полу и тихо, на одной ноте, говорил: «П-п-п-п...» — и не мог закончить. Андрюха смотрел на часы — у него были часы, отцовские, «Полёт», — и Толя видел, как он шевелит губами, запоминая. Витька стоял посередине звонницы и смотрел на свои руки.

— Он сам, — сказал Толя. Громко, чтобы все слышали. — Сам упал. Мужики. Сам.

Никто не ответил.

Толя разжал ладонь. В самой середине, в мякоти, был порез — маленький, треугольный, глубокий, с рваными краями, как от зуба. Из него шла кровь, тёмная, густая, и мешалась с сомовым жиром на пальцах. Толя смотрел на порез и не мог вспомнить, обо что поранился.

Потом, через много лет, когда кто-нибудь спрашивал про белый треугольный шрам посреди ладони, Толя Ершов всегда отвечал одно и то же. Он отвечал, что это сом. Что сом его укусил, в восемьдесят восьмом, на Спас, когда он его тащил.

Он и сам в это верил. Почти.

Глава 9. Лодка у колокольни

6 августа 2010 года

1

По тракту шли втроем: Архипов, Кравец и Филиппыч, который увязался следом, не спрашивая, в своём ватнике на голое тело, и нёс весло с красной изолентой на плече, как носят лопату. Никто ему не сказал отдать. Никто вообще ничего не говорил.

Только у лестницы, на верхней ступеньке, Филиппыч остановился, чтобы отдышаться, и сказал в дым, ни к кому:

— Он мне вчера, как уходил, сказал: «Сегодня, Гриш, звонить будет. Я знаю». Я говорю: кто звонить? А он: «Сам знаешь кто». И засмеялся. — Филиппыч поправил весло на плече. — Я думал — спьяну.

— Что — звонить? — спросил Архипов.

— Колокол, — сказал Филиппыч и пошёл вниз, не оборачиваясь, и больше до самой колокольни не сказал ни слова.

Сверху, с Нагорного, их провожали глазами. На лестнице, на площадках, у перил стояли люди — в майках, в халатах, с детьми, — человек тридцать, потом сорок. Никто их не звал. Никто ничего не спрашивал. Они просто стояли и смотрели, как трое идут по тракту в дым, и когда Архипов обернулся с середины пути, они всё ещё стояли, неподвижные, как фигурки на макете плотины в музее.

Тракт за неделю вылез из воды ещё выше. Булыжник, горбом, был теперь сухой не только по гребню, но и по обочинам, и по обе стороны от него дно растрескалось на плитки, серые, выпуклые, загнутые по краям, как старая краска, которую отдирают ногтем. Под плитками было мокро. Если наступить — плитка ломалась с тихим хрустом, и нога уходила в холодное.

Лещей на дне стало больше. Или они просто стали виднее: неделя жары сделала своё, и то, что лежало серебряным, теперь лежало жёлтым, раздутым, с белыми глазами, и над каждым висел свой гудящий шар. Запах был такой, что Архипов перестал дышать носом у первого же фундамента и дальше шёл, дыша ртом, коротко, как собака, и каждые двести шагов останавливался, будто что-то рассматривает. Рассматривать было нечего. Он стоял и ждал, пока шкаф в груди отодвинется.

Кравец не останавливалась. Она шла ровно, по самому гребню, ставя ноги точно на булыжники и ни разу не ступив в сторону. Ела сушку. На третьем фундаменте она обернулась и молча подождала, пока он догонит.

— Можете не идти, — сказала она.

— Могу.

Он пошёл.

Чайки кричали впереди. Чем ближе, тем громче — уже не криком, а скандалом, как кричат на рынке, когда кто-то украл кошелек. Колокольня вышла из дыма, как в прошлый раз, — не приблизилась, а появилась, серая, огромная, с пустым проёмом наверху. Тракт поднимался к ней, к паперти, и заканчивался у воды.

На западной стене церкви, высоко над их головами, красной краской было выведено: «НПУ 102», и под буквами — ровная черта через всю кладку.

— Нормальный подпорный уровень, — сказал Филиппыч, заметив, куда смотрит Архипов. — До куда вода должна стоять. Сам красил. Молодой ещё, в пятьдесят седьмом. Говорят, сам на лодке подплыл и сам кисточкой. — Он сплюнул. — Краска-то какая. Пятьдесят лет под водой — и хоть бы что.

Над водой, у самой стены колокольни, кружили чайки. Много. Двадцать, тридцать. Они падали вниз, в одну точку, и взлетали, и снова падали, и под ними, в этой точке, в трёх метрах от паперти, стояла лодка.

2

Лодка была привязана к колокольне. Верёвка шла от её носа к ржавому крюку, торчавшему из кладки на уровне человеческого роста, — крюк был старый, кованый, для чего его вбили когда-то, никто уже не знал. Лодка стояла носом к стене. Неподвижно. Вода вокруг неё была гладкая, бурая, и на ней плавали белые перья.

Архипов подошёл к краю паперти. Чайки при виде людей не разлетелись — только поднялись повыше и закружили, крича.

Ершов лежал в лодке на спине.

Голова его была на корме, на свёрнутом пиджаке — том самом, с чужого плеча, с поминок, — и приподнята так, что лицо смотрело вперёд, через всю лодку, через нос, на стену колокольни. Вверх. На проём звона. Глаза были открыты. Руки сложены на груди, правая поверх левой, как складывают в гробу.

А рот был набит хлебом.

Не кусок — целое. Что-то круглое, белое, вбитое в рот так, что челюсть отошла вниз, как у змеи, и губы натянулись вокруг до трещин. Хлеб размок. Разбух. Вылез из губ белой шапкой. И был разодран — клочьями, дырами, лохмотьями, — и Архипов понял, над чем кричали чайки.

Губы тоже были разодраны.

Он постоял. Потом снял ботинки, поставил их аккуратно, рядом, на камень паперти, закатал брюки и вошёл в воду.

Вода была тёплая, как суп, и дно было мягкое, и ил сразу взял его по щиколотку, потом по икру. Что-то скользнуло по голени — мелкое, быстрое, рыба, — и Архипов замер на секунду, как замирают в темноте, когда что-то касается ноги под одеялом. Потом пошёл дальше. Он дошёл до лодки в четыре шага, взялся за борт. Борт был горячий. От лодки пахло рыбой, водкой и чем-то ещё — сладким, мучным, как пахнет в булочной.

Вблизи было видно больше.

Волосы у Ершова были мокрые. Все — от лба до затылка, прилипли ко лбу, к вискам, и с них на пиджак под головой натекло тёмное пятно. Воротник рубашки мокрый. Уши — Архипов наклонился — в ушах стояла вода и мелкий ил. А рубашка ниже груди была сухая. Брюки сухие. Руки сухие.

Его окунали. Головой. Держали. Потом положили.

На шее, за ухом, сидела пиявка — чёрная, блестящая, толстая, как палец. Она не шевелилась.

Руки. Руки лежали на груди, одна на другой, и правая была развёрнута ладонью вверх — чуть-чуть, как будто ладонь хотела что-то показать. В середине ладони, в мякоти, был шрам. Белый, маленький, треугольный, с неровными краями, как от зуба.

Весло было одно, в уключине справа. Левая уключина была пустая.

— Вот и второе, — сказала с паперти Кравец, глядя на весло в уключине. — Одно оставили. Одно отпустили.

— Зачем?

— Чтоб доплыло, — сказала она. — До нас. — И пожала плечами, как будто сама не поняла, откуда у неё это взялось.

Бутылка лежала на дне у ног, пустая, на боку. «Пять озёр».

У бутылки, в ногах, лежал свёрток из газеты «Ясноводский энергетик», перевязанный бечёвкой. Архипов развернул уголок, не поднимая. Блины. Три блина с поминок, сложенные

вчетверо, и ломоть хлеба с хлебозавода, тот, толстый, серый. Нетронутые. Ершов взял с собой поесть — и не поел.

Верёвка на крюке была завязана беседочным узлом, аккуратно, туго, как вяжут, когда собираются стоять долго.

— Толин узел, — сказал с паперти Филиппыч. — Он всегда так. Встанет у колокольни, привяжется и спит до света. — Он помолчал. — Двадцать лет так.

— Ну? — сказала Кравец с паперти.

Архипов взял верёвку и повёл лодку к камню. Лодка шла легко, послушно, и ступни Ершова в стоптанных кроссовках качнулись в такт, как у спящего в поезде. Он подвёл её вплотную, бортом к паперти, и Кравец присела на корточки у края — у самого края, в двух сантиметрах от воды, но не касаясь её.

Она смотрела долго. Лицо у неё не менялось. Потом она сказала, как будто диктовала:

— Окунали. Руки не связаны, значит, пьяный был, не сопротивлялся. Или спал. Потом уложили. Руки сложили. Голову на пиджак. Хлеб в рот. — Она наклонилась ближе, к самым разодранным губам. — Хлеб не батон. Круглое. Плотное. Как...

— Когда? — спросил Архипов.

— Эксперт скажет. — Кравец посмотрела на руки Ершова, на пальцы, на то, как они лежат. — Окоченел уже, весь, до пальцев. Мухи ещё не сели — чайки не дали. Часов шесть. Может, семь. — Она прикинула. — С часу до трёх.

Она потянулась, не касаясь, пальцем — к тому, что осталось от белой шапки, от верхушки хлеба, где мякиш был плотнее и чайки не успели.

— Крестик какой-то, — сказала она. — Вот. Видите? Оттиснуто. И тут...

У Архипова в кармане зазвонил телефон.

3

— Архипов.

— Это Сухов. — Голос был ровный, служебный, как по громкой связи. — Мне доложили. Ершов.

Архипов посмотрел на лодку. На то, как Кравец держит палец над хлебом.

— Вам уже доложили.

— Мне всё докладывают, это моя работа. — Пауза. Где-то у Сухова в кабинете играло радио. — Я просмотрел ночные записи. Камера на плотине, у водосброса. С двух ноль семи до трёх сорока там стоял автомобиль. Чёрный «Тойота Лэнд Крузер». Номер московский. Я вам говорил утром.

— Вы говорили утром — до того, как нашли Ершова.

— Я говорил вообще, — сказал Сухов. — А теперь говорю конкретно. Два ноль семь — три сорок. Запись у меня. Я её вам передам. Лично. Через час в администрации.

— Кто был в машине?

— Стёкла тонированные. — Сухов помолчал. — Но машина в районе одна такая. Вы же сами видели.

Архипов не ответил. Он смотрел на Кравец. Кравец уже не держала палец над хлебом — встала, отряхнула колени, и смотрела на него, и по его лицу, видимо, поняла, о чём речь, потому что достала блокнот.

— Через час, — сказал Сухов. — Я жду.

Отбой.

— Вагин? — спросила Кравец.

— Машина его. У плотины. С двух до четырёх.

Она записала. Цифры. Время. Фамилию. Подчеркнула.

— У водосброса, — сказала она. — Оттуда до колокольни — километра три. По воде — полчаса на вёслах. На катере — пять минут. У него катер на мысу. Он сам утром сказал.

— Сам сказал, — повторил Архипов.

— Ну и что. — Кравец убрала блокнот. — Дураки тоже бывают.

— Вы ему верите?

— Сухову? — Кравец подумала. — Камерам верю. Камеры не пьют.

— А Сухову?

— Сухов с утра знал, что искать, — сказала она. — Это всё, что я про него сейчас знаю.

Архипов убрал телефон. Где-то в глубине, под грудиной, рядом со шкафом, шевельнулось что-то, похожее на удовольствие. Он узнал это ощущение и не обрадовался ему. Так бывает, когда ключ подходит к замку с первого раза: пальцы довольны, а голова ещё не успела спросить, почему дверь была не заперта. Чёрная машина. Без фар. У плотины. Человек, который говорит «иерархия ценностей» и не извиняется. Сильный, чужой, удобный. Версия легла в руку, как ложится тёплый камень.

Он знал про себя, что больше всего не доверяет тем версиям, которые ему нравятся. И знал, что эта ему нравится.

Про крестик на хлебе она больше не вспомнила. Архипов тоже. Он потом, через много дней, пытался восстановить эту минуту — как Кравец держала палец над белой шапкой, как сказала «вот, видите», — и каждый раз на месте того, что она показывала, у него в памяти был звонок. Голос Сухова. «Два ноль семь». Как будто звонок лёг поверх хлеба и закрыл его, как ладонь закрывает монету.

Чайки над ними кричали и не улетали.

4

Старухи пришли по тракту через полчаса. Три. Как они узнали — никто не знал. В Ясноводске всё узнавали так: не узнавали, а оказывались рядом. Они шли гуськом, по гребню, в платках и в резиновых калошах на босу ногу, и одна — та самая тётя Валя с лавки у лодочной станции — несла в руке полиэтиленовый пакет, в котором угадывался батон.

Они остановились у паперти, в трёх шагах, и посмотрели в лодку. Долго. Потом перекрестились — все три одновременно, как по команде.

— Толька, — сказала одна. — Господи. Толька.

— Так утопленников провожали, — сказала тётя Валя. Не Архипову, не Кравец — лодке. — Раньше. Когда я девкой была, в Затонье. Кого вода взяла — того в лодку. Лицом к храму. Руки крестом. И хлеба в рот, полный рот. И от берега — толкнуть. Чтоб плыл.

— Зачем хлеба? — спросил Архипов.

Тётя Валя посмотрела на него, как смотрела утром на Вагина.

— Чтоб не говорил, — сказала она. — Чтоб там не голодал. Чтоб назад не шёл. — Она подумала. — Кормят, чтоб не вернулся. Сытый не приходит.

Она посмотрела на верёвку, на крюк в стене колокольни, и лицо у неё стало озадаченным, как у хозяйки, которая нашла вещь не на своём месте.

— А этого привязали, — сказала она. — Не пустили. Так не делали. Кого провожают — того толкают. А этого — к храму. — Она покачала головой. — Значит, не проводили. Значит, оставили.

— А кто так провожал? Кто знал, как?

— Все знали. — Она пожала плечами. — Раньше все знали. Потом плотину построили, и провожать стало некого — кого вода брала, те там и оставались. Под водой. — Она кивнула на колокольню. — Там уже никого не провожают. Там сами лежат.

Вторая старуха, молчавшая до сих пор, сказала тихо, глядя на пиявку за ухом Ершова:

— Батя забирает.

Тётя Валя обернулась к ней, быстро, и сказала «тш-ш», как шикают на ребёнка в церкви. Но было поздно. Слово уже было сказано, и третья старуха повторила его, одними губами, и перекрестилась ещё раз.

— Батя забирает, — сказала она. — Вернулся — и забирает. Своих.

— Каких своих? — спросила Кравец.

Она спросила ровно, по-служебному, как спрашивают у свидетеля фамилию. Она не крестилась, когда крестились старухи, и не отвела глаз, когда они сказали слово, и Архипов заметил, что старухи смотрят на неё с тем выражением, с каким смотрят на человека, который громко разговаривает в церкви, — не с осуждением даже, а с жалостью: не знает, что тут так нельзя.

Никто не ответил. Тётя Валя достала из пакета батон, отломил горбушку и бросила её в воду, у кормы, у самой головы Ершова. Горбушка покачалась и поплыла вдоль борта. Чайки упали на неё сразу, все вместе, с криком, и разорвали в воздухе.

5

Катер МЧС пришёл в десять сорок. Ершова сняли, завернули в чёрный мешок и положили на палубу, и мешок был короткий, и из-под молнии торчали стоптанные кроссовки. Лодку взяли на буксир. Весло с изолентой Филиппыч отдал сам, молча, и потом стоял на паперти и смотрел, как катер уходит в дым, пока его не стало видно, и ещё какое-то время после.

Когда Ершова поднимали, голова у него откинулась, и то, что было во рту, вывалилось на дно лодки — размокший белый ком, разодранный, с дырами от клювов, в розовых разводах. Кравец сказала: «В пакет. Весь. Каждую крошку», — и эксперт с катера, молодой, в перчатках, собрал его пинцетом, по кусочку, в прозрачный пакет, и пакет сразу запотел изнутри. Верхушка, где был крестик, ушла в пакет одной из последних — маленький плотный кружок мякиша, изклёванный по краю. Архипов видел, как она легла на дно пакета, оттиском вниз.

Пока грузили, по тракту спустился пономарь.

Архипов увидел его издали — чёрное пятно на сером гребне, прямое, неторопливое. Даниил шёл один, в подряснике, с книгой под мышкой, и дойдя до паперти, ни с кем не заговорил, а встал в стороне, у стены колокольни, открыл книгу и начал читать. Вполголоса. Ровно. Как тогда, в часовне, ночью, над гробом. Слова шли одно за другим, не цепляясь, на одной высоте, и чайки над ним почему-то кричали тише.

— Отец Арсений благословил, — сказал он, когда Архипов посмотрел на него. Не поднимая глаз от книги. — Над всеми, кого вода взяла, надлежит читать. Отец Арсений сам не может — у него служба.

И продолжил, не потеряв строку.

Архипов стоял на паперти босиком — ботинки так и стояли рядом, — и смотрел на воду, на то место, где была лодка. Вода уже разгладилась. Белые перья плавали.

— Я видел свет, — сказал он.

Кравец обернулась.

— Ночью. С балкона. Здесь, у колокольни. Огонёк. Стоял на месте. Потом погас.

— Во сколько?

Он открыл рот и понял, что не знает. Он, который смотрел на часы, когда видел машину без фар на плотине. Который записывал время, когда закрывал блокнот. Он стоял на балконе, смотрел на огонёк, думал о чём-то — о Луние, о том, что в такую жару многим не спится, — и не посмотрел на часы.

— Не посмотрел, — сказал он.

Кравец ничего не сказала. Она посмотрела на него чуть дольше, чем нужно, потом на колокольню, потом снова на блокнот.

— Ладно, — сказала она. — Дальше. Час у нас. Сухов ждёт с записью.

Они пошли обратно по тракту. Даниил остался.

Архипов обернулся на третьем фундаменте. Мальчик стоял у стены колокольни, чёрный на сером, и читал, и голос его — ровный, неразличимый — долетал сюда, через дым, как долетает издали шум воды в трубе.

Чайки кружили над ним. Не садились.

Шли молча. На середине тракта Кравец сказала, не оборачиваясь:

— Он у Мельника списывал. В восьмом классе. Контрольную по истории, про Куликовскую битву. Мельник ему дал, а потом обоим тройки поставили — у них ошибки одинаковые были. Мельник неделю с ним не разговаривал. — Она перешагнула через дохлого леща. — А Толька ему потом сома нарисовал. На промокашке. Большого, с усами. В знак извинения.

Архипов ждал продолжения.

— Всё, — сказала Кравец. — Больше ничего. Просто вспомнилось.

Наверху, на Нагорном, у лестницы, людей стало больше. И среди них — чёрный подрысник, неподвижный, как всегда, у самых перил. Лунин стоял и смотрел вниз, на тракт, на них, и когда Архипов поднялся на последнюю ступеньку, мокрый, в ботинках на босу ногу, с илом до колен, Лунин сделал шаг ему навстречу.

— Ещё один, Глеб Андреевич, — сказал он тихо. — Мы не уберегли.

— Мы?

— Мы все, — сказал Лунин. — Весь город. — Он посмотрел на Архипова, на его ноги, на ил, и в глазах у него было что-то вроде заботы. — Вам бы переодеться. Простынете. В такую жару легко простыть — от воды.

Он поднял руку и перекрестил его — коротко, не спрашивая, близко, у самого лица, так что пальцы почти коснулись лба, — как крестят ребёнка перед школой. И отошёл к старухам.

Архипов стоял на верхней ступеньке и не мог понять, почему место на лбу, до которого не дошли пальцы, кажется ему холоднее остального.

6

В сарае пахнет смолой, мукой и старыми сетями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.